

Виктор Серж

ПОЛНОЧЬ ВЕКА

*Памяти Курта Ландау, Андреса Нина, Эрвина Вольфа,
без вести пропавших в Барселоне
даже смерть которых у нас украли,*

Хоакину Маурину, в испанской тюрьме,

*Хуану Андраде, Хулиану Горкину, Кате Ландау, Ольге Нин,
а через них всем тем, чье мужество они воплощают,
посвящаю я эти вести об их братьях в России.*

I ХАОС

Михаил Иванович Костров, будучи совершенно несуетным, чувствовал, что в его жизнь пришло нечто; оно заявляло о себе почти неуловимыми признаками. Взять его отстранение. Необычным был тон ректора, который сказал:

– Михаил Иванович, я решил временно приостановить ваш курс... Вы дошли до Директории, не так ли? – Явно боязнь намёков на новый поворот в политике. – Подготовьте-ка, – продолжал ректор, – кратенький курс по Греции...

Сдвиг примерно на две тысячи лет. И тут Костров ощутил, что совершает ошибку, но сделал это с лёгким сердцем, ради удовольствия слегка поугубить этого ловко устроившегося труса, который умел особым голосом говорить по телефону с секретарем парткома.

– Отличная идея, – сказал он. – Давно вынашиваю цикл лекций о классовой борьбе в античном полисе... Здесь есть простор для развития современных взглядов на тиранию.

Ректор спрятал глаза, уткнувшись в бумаги. Его лысая макушка походила на тонзуру.

– Только не переборщите с современными взглядами, – пробормотал он, отвесив губы. – До свидания.

Вот тут, созерцая тонзуру, и ощутил Михаил Иванович, что его несёт навстречу событиям...

Он вышел, совершенно уверенный: «Кто-то на меня донёс. Кто?» Потом отыскал в памяти образ маленькой, неизящной, приземистой, с тяжеловатым бюстом, упакованной в дождевик с армейских складов женщины. Узкий лоб, длинный рот, лишённый теплоты взгляд – такого он не любил. Под рукой зажат портфель активиста, наверняка набитый важными бумагами. Тезисы райкома для агитаторов, список актива и тому подобное... «Товарищ профессор, вы не совсем понятно выразились о левых термидорианцах... или я не уловила вашу мысль... Это были, по вашим словам, я записала, плохие термидорианцы, которые действовали себе на погибель, поддержав Барраса и Тальена... Я совершенно не понимаю вашего деления на хороших и плохих термидорианцев...» Мелкая ты скотинка, следишь за мной, это ты, вот кто на меня донёс... И в этот момент из кабинета диамата вышла она, с портфелем наперевес и этой отвратительной рыхлой грудью, излишне громко вещая своим хрипловатым голосом, созданным для наспех сколоченных трибун и красных транспарантов. Говорила она, естественно, о стенгазете.

– Это недопустимо! Это даже неприемлемо! Редколлегия...

При слове *непримлемо* Костров больше не сомневался. Доносчица. Он ускорил шаг, чтобы избежать приветствий, но она бодро поздоровалась первой, а за ней показалась кудрявая головка Ирины, маленькой зырянки с верховьев Камы, которую ой считал миленькой за гладкое личико, продолговатый разрез глаз, резкие скулы и губки, будто точёные миниатюристом оленьего века...

– Ну как, товарищ, – обратился к ней он, – как ваша тема? Получается?

Она кивнула утвердительно, серьёзно и игриво, игривость пряталась в глубине глаз: всего лишь золотые искорки далеко-далеко, как под водой. Немного поговорили, потом прозвенело одиннадцать, и их разделил поток студентов.

Вечером, сидя за столом с Ганной и устроенной на высоком стуле с разрисованной спинкой Тamarочкой, он спросил:

– А что бы ты сказала, Ганна, если меня арестуют?

Ганна не перестала кормить малышку серыми макаронами. На щеках её выступила лёгкая краснота, очки в черепаховой оправе как будто немного сместились, и сказала она просто:

– Ты думаешь?

Малышка слушала, настороженно улыбаясь. В наше время надо, чтобы дети понимали. Чтобы дети знали. Лучше подготовить их, чем бесконечно им лгать. Ванил Ванилыча снизу арестовали пятнадцать дней назад, и его Светлана, которой сказали, что «папа уехал, знаешь ли, в Ленинград, в Академию наук», в конце концов расплакалась из-за того, что её обманывают. «А я знаю, что папа в тюрьме, знаю, знаю! И горюю, что папа в тюрьме, а вы все зачем врётё?»

Еврей с третьего этажа был в тюрьме. Марусин зять тоже. Семилетняя Светлана сообщила шестилетней Тamarочке:

– А я видела дядю, которого расстреляли: он ходил к нашей тете, у него был большой нос, он был противный, я рада, что его расстреляли.

Дед заворчал на неё:

– Светлана, так говорить нехорошо. Светлана, надо думать о страданиях ближних.

Этот дед, старый пустомеля, был тайным приверженцем секты чуриковцев. Светлана раскапризничалась, надувшись, глядя на него из-под своего большого выпуклого лба:

– А я говорю, деда, он противный, и значит правильно сделали, правильно сделали, что расстреляли его. – Она запрыгала на одной ножке, повторяя:

– Правильно сделали!

Всё это вытворяла она, чтобы увидеть, как увлажняются дедовы глаза, а губы одолевает мелкая дрожь, и убедиться, что он её любит и что он слаб. Тamarочка смотрела на эти проделки, слушала всё. Как он её любит, дед, и как она его мучит! «Какая ты гадкая, Светлана!» – подумала она. И отпрыгнула в сторону, ударила по плечу Светлану, спряталась за скамейкой, предлагая себя догонять... Тут дед увидел прямо перед собой на фоне бледного неба силуэт худого, сурового, одухотворённого человека из серого камня. Такого прямого. Такого сурового. Такого прекрасного. Инквизитор. Дед вздохнул. Между тем это был всего лишь натуралист Тимирязев, ведь дети шли гулять по Тверскому бульвару к перекрёстку с Малой Никитской. Вот на этой тихой улочке, справа, скромная белая церковь, та самая, где сто лет назад венчался Пушкин:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Он любил эти стихи, дед, которому не было ни покоя, ни воли. Как самому Пушкину. Как почти всем на свете. Но в стихах была гармония, чудная ложь. Нет: потусторонняя истина.

Дороже истин, превыше. Покой и воля не существуют, они возвышаются над всем, недостижимые и непревзойдённые, подлинные и мнимые. Никто не может этого понять, никто... Против церкви небольшой приземистый особняк, окружённый дощатым забором и решёткой: здесь жил Максим Горький. Вот кто ни в чём не нуждался. Ни в покое, ни в счастье, ни в воле! Он безудержно писал слащавые, возмутительные и почти бездушные вещи... Наверное, он страдал от этого, ведь нельзя не страдать, чувствуя в себе так мало души на пороге смерти. «Я бы, конечно, помолился за тебя, Алексей Максимович, – думал дед, – но твои писания убивают во мне подобное желание...» Такой вот мир и даже более широкий и сложный умещался в этот момент в душе шестилетней Тamarочки, которая с широко открытыми глазами что-то грызла, настороженно улыбаясь из-за стола. А над ней всматривались в своё будущее мужчина и женщина.

– Ты думаешь? – повторила Ганка. Кострову казалось, что знает. Предвидение, предчувствие – это слова наивных, которым больше нечего сказать. Сопоставляешь массу подсознательных наблюдений, соображений, и вдруг возникает вывод, не всегда, разумеется, самый рациональный, но самый достоверный.

– Скорее всего. В Москве, подумай-ка, за шесть недель три сотни арестов. И все люди моего поколения, борцы гражданской войны, оппозиционеры 26-27 годов, остепенившиеся, чтобы жить спокойно...

Ганна задумалась, Ганна, удивительно похожая на студенточку, розовощёкая, с чуть-чуть курносим носом и туго стянутыми на прямой пробор волосами. Даже в постели в минуты ласк ему хотелось, чтобы она не снимала своих черепаховых очков из-за той забавной серьёзности, которую они придавали её девчоночьему лицу. А она заливалась нежным румянцем. «Нет, давай сниму, я стесняюсь...» Смех самца повергал в смущение, она рдела, а Михаил, любуясь её наготой, твердил: «Запрещаю, милая, милая...» Он так любил её, что не знал точно, любил ли. Так и жил, не зная.

– Если тебя арестуют, – спросила она, – как думаешь, меня выгонят из статуправления? А вдруг правда?

– Продашь диван... И мой коричневый костюм...

Они засмеялись. Есть диван, есть коричневый костюм – на чёрный день! Они были готовы. Через сутки его арестовали. Попросту, на улице, перед трамвайной остановкой. Сбоку на тротуаре возник некий тип, он шагал в ногу, идя на сближение по касательной. Кепка и невзрачное пальто; молодое, без признаков образования лицо.

– Товарищ Костров, пройдемте, пожалуйста...

– Понимаю, понимаю, – вымолвил Михаил Иванович, ощутив в своём ожидании едва ли не облегчение. Спутник ничему не удивился.

– Сюда.

Они вошли во двор, покрытый разъезженной брусчаткой. В лужах стояла дождевая вода, перед открывающимися в тёмный коридор дверьми был остановлен автомобиль, весь забрызганный грязью прошедшей ночи... Из подвалов поднимался неприятный запах тлена. Костров шлепал по лужам, досадуя от мысли, что запачкает брюки, и ещё более досадуя от мысли, что его занимают такие глупости. Тип растворил перед ним дверцу автомобиля.

– Садитесь, гражданин.

«Правление жилищного кооператива предлагает задерживающим оплату жильцам... под страхом занесения в чёрный список... Жилищный кооператив № 6767. Ленин вечно живой». Костров прочел эти строки, вывешенные на облезлой штукатурке... Вечно! Толпа идиотов! Автомобиль рванул через лужи, развернулся под безумный трезвон трамвая, устремился к массивной, прямоугольной, красного кирпича башне Троицких ворот, промчался мимо

зубчатой стены Кремля, мимо высокой белой колоннады Большого театра, замедлил ход перед гигантским портретом вождя, закрывавшего весь фасад большого строящегося магазина, резко остановился на площади Дзержинского перед дверью, охраняемой, как и другие, солдатом в островерхом матерчатом шлеме. Над дверью гнусно улыбалась в бороду маска из потемневшей бронзы. «Привет, Маркс! – сказал ей Костров про себя. – Этот штык тебя не беспокоит? Правильно делаешь, что не показываешься среди нас, здесь ты сам прошёл бы этой дверью, старина, и обслужили бы тебя быстро...» Мысли у него были только ребяческие, они беспорядочно сновали в мозгу, обдуваемом холодным ветром. Но не страх: какое-то облегчение, позывы к веселью...

Потом он впал в тоску долгого бестолкового ожидания в пустом кабинете, оттуда его опустили на лифте в заурядный отсек хаоса: из хаоса он вновь поднимался на поверхность безмолвия, спокойно; а потом пришла эта боль в сердце. Так поворачивается ключ в замке с той стороны двери, а за этой дверью пустота неизвестности. Для самоутешения Костров мог бы сказать: «А мне, знаете, не страшно, что меня посадили. Такого я уже навидался. Вот во Львове, в Польше, в двадцатом, когда жандармы взяли меня в облаве как подозрительного, мне, друг мой, было не по себе. Взгляни они чуть повнимательнее на мой чешский паспорт, быть бы мне по меньшей мере повешенным. В двадцать первом, история в Тифлисе, менее опасная, конечно, поскольку грузинские социал-демократы были весьма неплохо информированы. Ной Агашвили навестил меня в Метехской тюрьме, мы были знакомы по Парижу. «Ваше восстание? – сказал он мне. – Да все его нити, дорогой, в моих руках. Я упрятал тебя в твоих же интересах. Слушай, давай сыграем в шахматы?» Надо вам сказать, что Агашвили никогда не забывал мата, поставленного мною в Петербурге после июльского восстания, когда нас прибило друг к другу на углу Миллионной... Я сам арестовал его вскоре после установления Советской власти; сейчас он, должно быть, выслан в Узбекистан... В двадцать четвёртом в Рушуке, в Болгарии, тяжёлый момент... В двадцать восьмом в Москве, но тогда у меня были серьёзные идейные споры со следователем. Небесполезные, раз он плохо, точнее хорошо, кончил впоследствии: на Соловецких островах – пять лет, five years, Sir, за крайне левый уклон...

По крайней мере, здесь я чувствую себя в своём кругу, как дома. Нас посадили, этого требует политика. Приближаются хлебозаготовки, очевидно, они обернутся фиаско, что убедительно доказывают контрольные цифры Плановой комиссии. Значит, нас боятся, хотя мы помалкивали...»

Хаос был прямоугольной камерой, вмещавшей шесть коек и тридцать узников. Оседавший от дыхания пар стекал по стенам, табачного дыма было столько, что всё колыхалось в его удушливых клубах. В духоте узники обливались потом, страдали головной болью и позывами к рвоте. Кто-то всё время блевал, мочился или испражнялся в парашу, и вновь прибывшие, помещенные в этот угол, терпели зловоние и мерзкие органические звуки. Спали на койках и под ними; для прогулок по взаимной договоренности, ужавшись, сидя на корточках или стоя вплотную друг к другу, сохраняли тесное пространство вдоль дальней стены, именуемое бульваром. Поочередно каждый мог немного размяться. Вечерами где-то выше, за этажами замкнутого, слоёного мира, медный оркестр выдувал зазывные мелодии, чтобы закружить клуб 4-го особого батальона: парней в форме с блондинками, шатенками, брюнетками, рыжими, да, даже рыжими, густо напудренными девушками, чьи плечи покрывали те красивые яркие шали, которые продаются за двадцать один рубль в коопе ГПУ. Какой-то призрак с бородкой, восстав во мгле Хаоса, плёл, будто у него этих шалей было сколько угодно: «И они трясутся там, наверху, эти блядешки, а я, я здесь за шесть шалей, эх! Разве это жизнь? Дерьмо!» Ругань лилась из его рта, трубы неистовствовали. Тридцать призраков с приглушёнными, как того требовали правила, голосами колыхались, стараясь уместиться друг на друге, почесаться, не слишком досажая соседу, поделить

поровну тёплую воду, чёрный хлеб, малюсенькие кусочки сахара, убить время, убить страх. Можно было составить полный список всевозможных, гнусных и благородных, вымышленных, мнимых, подлинных, невообразимых преступлений, сводя воедино их истории, которые рассказывались, впрочем, из страха перед стукачами, почти из уст в уста. «Глянь, вон тот старик справа от болтуна, который почти всё время спит, – это один из них. Ему что-то посулили, чтобы слушал, он всё мотает на ус и ещё от себя добавляет. Что бы ни случилось, мимо них не пройдёт, уж поверь». Можно было составить ещё более полный список безвинных мук и безгрешных невинностей, если проникнуть чуть-чуть в сознание призраков. Бывший был самым большим – по росту – самым костистым и самым мудрым из обитателей Хаоса: его лохматые брови и граненого камня подбородок при любом осложнении возникали из густого табачного тумана и водворяли порядок, мир. «В Хаосе № 16 у меня весь Достоевский, – говорил он гордо, – и более того! С утра тридцать одно несчастье». Два троцкиста, один подлинный, другой сомнительный, подлинный – под кроватью, другой – на, обсуждали вполголоса аргументы Радека против теории перманентной революции. Михаил Иванович их заметил, но сам-то он отрёкся в 29-м году, признав, что коллективизация... Они не проявили особой приветливости. Растерянный Михаил Иванович обрёл, наконец, расположение какого-то мертвенно-бледного горбуна, обвиняемого в нелегальной фабрикации мыла. Вдруг один расхристанный призрак, медленно шагавший туда-сюда по бульвару, – четыре восемьдесят в длину – остановился и довольно громко произнёс:

– Граждане и товарищи! Простите мне своеволие. Я так больше не могу. Прошу разрешения плакать. Слышишь, Бывший? Разрешения плакать.

Из тёмной зоны под светлым оконным проёмом пришёл уверенный голос Бывшего.

– Поплачь, старик, если хочешь, если можешь. Здесь это твоё единственное гражданское право. Я запрещаю над этим смеяться, товарищи. Только постарайся не шуметь. Правила превыше всего.

Наблюдали. Отложили партии в кости и шашки. Кубики и пешки из хлебного мякиша моментально потеряли смысл. У человека (теперь уже не призрака) было страшно измождённое, цвета стены, земли, горечи, безумия лицо. Нет слов, чтобы передать такой цвет человеческого лица, которого никто никогда не рисовал. Это лицо, ошетилившееся пепельными волосами, эти глаза – дыры со слабым отблеском в глубине. Человек сказал:

– Меня обвиняют в шпионаже. А я всего лишь б'дняга, граждане и товарищи, клянусь вам, не более чем б'дняга!

Его речь была прерывистой, как рыдание, но лицо оставалось сухим. На худой, изборождённой жилами шее выдавалось адамово яблоко. После некоторой паузы Бывший заметил из своего угла:

– В чём тебя обвиняют, эт' не наше дело. Я бы даже сказал, что и не твоё тоже. Власть знает, что творит, когда бросает нас в тюрьму. Б'дняги – это мы все, вот что самое печальное в твоей истории...

Шпион озирался вокруг с какой-то досадой. Он провел по лицу сверху вниз хилыми и грязными пальцами. Совершенно сухо.

– Ну вот, не могу плакать. Больше не могу, граждане, простите меня. Всё прошло. Собачья жизнь, скорей бы это кончилось. Бывший подчёркнуто серьёзно подхватил:

– Постоянная сессия Хаоса № 16 продолжается. Переходим к повестке дня.

Михаил Иванович прожил в Хаосе семь недель, наполненных незначительными событиями, – дни пролетали быстро, хотя каждый час был долгим и гнетущим. Люди там

попадались яркие, срок их томил, но времени как такового не существовало. Михаил Иванович получил от жены передачу: добрый знак, в тяжёлых случаях это не разрешалось. Дюжина крутых яиц, безжалостно изрезанных охраной грязным ножом в куски, подтверждала, что Ганну не выгнали из Статуправления. Но в следующую среду он ждал напрасно, волнуясь всякий раз, когда к двери приближались шаги. Спекулянт Татарев, рыхлое жвачное животное, тучность которого мало-помалу спадала, получил лакомства и поделил их: половину – камере, другую – себе. Свою разложил на сером одеяле и созерцал. Сухарики казались золотыми, излучали свет. Татарев до вечера смотрел на них и ночью с протяжным сопеньем и раздражающим чавканьем съел. Грязное жвачное животное.

Двое страдали дизентерией. Их всё держали в Хаосе, и они наполняли его зловонием. Жизнь, это было видно невооружённым глазом, уходила из них с кровавым поносом днём и ночью. Один был механиком и обвинялся в саботаже, другой – перекупщиком и обвинялся в мошенничестве. Бывший дважды в день внушал надзирателю:

– Они подышают, говорю вам, товарищ начальник, а это противоречит правилам, с точки зрения гигиены.

– Ладно, ладно, – отвечал надзиратель. – До вечера, слышь, не сдохнут. Нет мест в лазарете. Погодьте до завтра.

Наверняка ждали, пока смерть освободит две койки в лазарете, чтобы перевести туда этих смрадных умирающих. Наверху с девяти до одиннадцати играл свои бравурные мелодии оркестр; брюнетки, шатенки, блондинки и даже рыжие, покрыв плечи яркими шальями, кружились в объятиях военных... Украли сорочку у Тётки-Толстопука, обвиняемого в оккультизме, приличного молодого человека, наделённого природой несколько непропорциональным задом. Съестным его снабжала тётка: отсюда двойное прозвище. От предложенного Бывшим, общего шмона он отказался, но это повлекло за собой долгие споры, полный кризис совести в недрах Хаоса, пока воры, составлявшие под предводительством Малыша со Смоленского рынка организованную фракцию, не заявили, что предлагают до истечения ночи, вернуть украденный предмет, в противном случае обязуются сами сыскать виновника и лишиться одного всякого желания повторять подобное. Поутру Тётка-Толстопук нашёл в ногах своего тьюфяка эту самую рубашку, у которой, впрочем, не хватало довольно заметного куска ткани. Совсем неслыханное, тайное, невероятное случилось, когда Малыш принёс из отхожих мест, куда все разом ходили дважды в день присесть в ряд на дырках, пока товарищи из второй и третьей смен стояли рядом на изготовку, причем те, что из второй, уже без штанов, поскольку надзиратели на выходе покрикивали: «Поживей, поживей, граждане!» – совсем неслыханное случилось, когда Малыш принёс оттуда пол-литра водки для Фракции Воров. Чудесный алкоголь был распит в кругу посвящённых. Так в Хаосе обнаружилась элита. Костров был растроган, когда парень из Фракции поднёс ему божественного эликсира на доньшке стакана. Он беспричинно задумался о смерти Тamarочки, и эта капля алкоголя возвратила его к действительности, пришла уверенность, что в этот час Тamarочка спит, покрасневшись, подложив под щеку сжатый кулачок, и рядом дремлет плюшевый мишка. Выбыли оба замеченных в первые дни троцкиста, их сменили двое других – рабочие с завода АМО, из которых по крайней мере один ничего не смыслил в идеях. Кроме того, появился социал-демократ из бухгалтеров, чистенький до предела, правда, уже на другой день он необъяснимо сделался совершенно грязным. Он донимал Кострова рабочей демократией. «К этому, уважаемый товарищ, вы идёте с двенадцатилетним запозданием». Михаил Иванович чуть на стенку не лез. «У нас ничего, ничего нет общего с меньшевизмом. Между каутскианской контрреволюцией и нами...» Спорили много, весьма агрессивно и вместе с тем дружески. Социал-демократ с виду походил на еврея, знал, что такое Уфа, Семипалатинск, Канск, Шенкурск по семилетней ссылке в те края. На сей раз хотел бы быть высланным в Казахстан. Впоследствии Михаил Иванович никак не сумел бы вспомнить его лицо: оно было заурядным, да и общались обычно в темноте, лежа под койкой. Но Михаил

Иванович узнал бы своего собеседника из тысячи по неприятному запаху изо рта, по дергающимся губам, которые время от времени причмокивали. В этом Хаосе серьёзных случаев было немного, не то что в Хаосе 18, где более половины узников могли оказаться укукошенными до конца квартала. Здесь только перед почтарем (кража посылки) и возчиком (кража двух мешков зерна) маячила угроза дыры в черепе от пули нагана в силу закона от 7 августа 1932 года о священном характере общественной собственности. Возчик говорил про это без видимых эмоций: «Я рецидивист, понял? Первый раз мне простили, думаю, могли бы и ещё разок». Он коротал время лежа, заложив руки за голову, почти бессловесно наблюдая за всем, его внутренняя жизнь проявлялась примерно один раз в час лишь взрывами проклятий, которые он бормотал себе под нос. «Эх, дерьмо! Эх, сволочи! Чёрт побери совсем». (На самом деле это звучало гораздо крепче и нуднее). Почтарь, молодой русский комсомолец, выглядел более уверенно. Малыш, угадав это с первого взгляда, во всеуслышание заявил ему на бульваре:

– А ты ништяк парень, но падла конченная. Я спокоен за целостность твоего затылка, тебе судьба – сделать в лагерях почётную карьеру. Будешь смотреть, как другие упираются с кайлом, заполнять карточки и выйдешь в ударники. Не говори «нет», это ясно, как и то, что ты сдал всех своих корешей. Не говори «нет», братан, я без понта.

Маленький почтарь сделался малиновым. Бывшего было почти не видно, но его голос возникал всегда в самую пору сквозь завесу терпких испарений. Он ликвидировал инцидент в зародыше:

– Заткнись, Малыш. Никто не имеет права ставить под сомнение высокое достоинство гражданина Хаоса.

Михаила Ивановича притягивал Бывший. Два раза в неделю, получив от охранника несколько листов туалетной бумаги, он выходил на бульвар с предложением:

– Не желает ли кто-нибудь написать пролетарским властям?

С длинными жёсткими волосами, чёрной бородой, похожей на плотный ошейник, с бледной кожей и глубоко запавшими глазами, мощными квадратными плечами, стоя на длинных, широко расставленных ногах, он произносил это с неуловимым оттенком насмешки. «Контра?» – задавал себе вопрос Михаил Иванович. Однажды он попытался подступиться к нему, предложив свою пайку супа (в тот день его слегка лихорадило):

– А вас, Бывший, какая статья привела сюда вас?

Обычно об этом говорили охотно. Дальше, впрочем, не вникали, если не возникало желания пооткровенничать, и суть дела оставалась весьма неопределённой. Бывший насмешливо подмигнул и ответил:

– Я вам этого не скажу, дорогой мой. Может, сам не знаю. Бывают такие случаи, полно такого. Видите ли, в Хаосе половина братьев врёт, а другая половина сама не знает что говорит, поскольку ни те, ни другие совершенно не понимают, что с ними происходит. Надо вам сказать, я верю в судьбу. Разумеется, у каждого своя судьба, но есть ещё одна – для всех, где отдельная гроша ломаного не стоит, вроде как при сведении контрольных цифр Плановой комиссией... Только нельзя, согласитесь, жить без секретов. В Хаосе должна быть хоть одна тайна. Так вот, это я... Никто не знает, кто я. Я этого не скажу никогда. Никому. Даже Им...

Слово *им* приобретало в его устах и глазах странные масштабы. Оно охватывало пятнадцать бетонных этажей, двести кабинетов, особые батальоны, невидимую Коллегию – всё то, что скрывалось в этом колоссальном, могучем и сложном организме, куда людей втягивало столь же неумолимо, как зерно в веялку.

– Меня, товарищ, они могут держать до страшного суда. Я ничего им не скажу. Ничего. Слышишь? Им хотелось бы узнать всё, ха-ха-ха! А может, они сами не знают, чего им от меня надо. И я молчу. Секрет в этом. Мо'быть там ничего. Мо'быть – всё.

Слово *всё* содержало в себе угрозу, признание, ужас, ночь, иронию – всё. Бывший засмеялся. Жёлтые зубы у него во рту были целыми, крохотные искры в глазах сверкали из-под бровей – где-то очень далеко.

Потом, посерьёзнев, он склонился почти к уху Михаила Ивановича:

– Правильно делаешь, что пишешь им маленькие цидульки каждые три дня. Так и надо.

– Почему? – отозвался Михаил Иванович.

– По всем их ящикам. Маленькие цидульки у них нумеруются и классифицируются в маленьких ящиках, маленькие ящики – в шкафах, а шкафов, брат, здесь пятнадцать этажей. В этом суть.

Михаил Иванович подумал, что Бывший смеётся над ним; в любом случае он не подал виду. «Нет, – сказал себе Михаил Иванович, – он сумасшедший». Но с этой минуты уважал его ещё больше. И продолжал писать каждые три дня маленькие цидульки.

Товарищу следователю по политическим делам, протест от... члена партии с 1917 года.

...Товарищу прокурору, облечённому правом надзора за делами Политического Управления... протест от... члена партии с 1917 года.

...Товарищу председателю Особой Коллегии Политического Управления... протест...

... Товарищу председателю Центральной Контрольной Комиссии партии, про...

Это были небольшие прямоугольники туалетной бумаги, исписанные химическим карандашом, с негодующими, униженными, умоляющими, ясными, наивными, туманными, вычурными, лживыми и правдивыми текстами. Писало двадцать граждан Хаоса, и два раза в неделю Бывший вручал всю пачку Первому Охраннику.

Извлечённый внезапно из подземного мира, препровождённый на поверхность, к дневному свету обыкновенной жизни, Михаил Иванович оказался в небольшом кабинете, недурно обставленном, украшенном портретом Вождя и планом Москвы напротив. Окно выходило на залитые солнцем крыши, нежно-зелёные колоколенки манили взгляд. Покойно было видеть жизнь, продолжающуюся с такой безмятежностью. Остатки почерневшего от сажи снега дотаивали на северных скатах крыш. Конвойный неподвижно дожидался в дверях, кабинет был пуст. Повернув голову, Михаил Иванович узнал себя – нездорового, как-то неприятно пришибленного, – в стекле заполненного делами шкафа. В нём колыхался на фоне бумаг бесплотный образ. Исхудал, постарел и побледнел. Нос, казалось, потерял нюх, но как будто прочистился; странную призрачность являло это лицо бродяги с беспорядочной бородой. Михаил Иванович узнавал в самом себе обитателя Хаоса. «Гражданин Хаоса, – сказал он себе с желчной иронией, подумав: – Чёрт, этот режим быстро разрушает организм».

– Добрый день, Михаил Иванович! – раздался сзади сердечный голос.

Следователь, ладный военный лет тридцати, закусив трубку, рассматривал его как старого знакомого. – Садитесь. Папиросы?

Встреча была какой-то бессмысленной. В сущности, он ни о чём не спрашивал Михаила Ивановича. Разве что вот: надо, чтобы он сам покопался в своей совести. Потом можно по-товарищески разобраться. В преданности его не сомневаются: именно поэтому в сложившихся обстоятельствах и вызывают к ней. Два человека, покуривающие за столом друг против друга, казалось, играли в сложную игру посредством двусмысленных фраз,

перемежающих скрытую угрозу вкрадчивыми увещеваниями; тон колебался от отеческого до официального.

– В конце концов, всё будет зависеть от вас! – подвел итог следователь. – Извините, у меня мало времени... Тут Михаил Иванович взорвался:

– Ну уж, нет! Что за скверная игра? Вы издеваетесь надо мной? Я хочу знать, какого выверта вы от меня ждёте! И хочу, чтобы вы знали, в каких условиях вы меня держите. Какой гнусный скандал, что на пятнадцатом году революции существуют подобные тюрьмы. Сомневаюсь, что в фашистских застенках...

– О! О! – мягко вмешался следователь. – Вот какое неудачное сравнение, оно за версту выдает контрреволюционера...

Михаил Иванович покраснел. Впрочем, минутная вспышка утомила его. Толчки сердца наполняли грудь давящим шумом. Он хотел взять папиросу, но дрожащие пальцы нащупали пустоту под листком папиросной бумаги в коробке следователя.

– Успокойтесь, – бесстрастно сказал последний. – Я не знал, что вас так плохо устроили. Соратник с вашим-то опытом должен бы понимать, как мы перегружены делами. Я здесь и ночью, уважаемый товарищ, совсем без выходов. Если домзаки забиты, виной тому не диктатура пролетариата, а контрреволюция, которая осаждает нас со всех сторон. Извиняюсь, что приходится напоминать вам такие простые истины. Выпейте воды. Прикажу поместить вас в отдельную камеру, там вам будет очень хорошо. До свидания, Михаил Иванович. Подумайте, Михаил Иванович.

Он мягко, сердечно тронул узника за плечо. В длинном мрачном коридоре, которым следовал Михаил Иванович в сопровождении конвойного, все нумерованные двери были закрыты. Вдруг одна из них отворилась, и оттуда резко, едва не натолкнувшись на проходящих, вышла молодая блондинка с буйными волосами и синевой вокруг огромных глаз. «Не так быстро, гражданка», – послышался откуда-то властный мужской бас. Происшествие сразу же стало прошлым: никогда эти огромные, окружённые синевой глаза, эти светлые буйные волосы не встретятся снова. Михаил Иванович ругнулся про себя: «Эх! Чёрт побери! И впрямь Хаос – да ещё эта сволочь, эта сволочь со своими папиросами, со своей лицемерной мордой...»

Лифт. Двое лицом к лицу, снова почти впритирку: один крупный, крепко сбитый, выгнувший грудь под форменной гимнастёркой; другой – едва стоящий на ногах, измученный нестерпимым зудом под мышкой, обуреваемый тошнотворной злостью. «Входите, гражданин» (*вежливо*). Михаил Иванович слышал, как захлопнулась дверь камеры. Человек из лифта не имел лица: стандартный овал вместо лица, овал...

Михаил Иванович ждал Хаоса, а тут тишина, порядок, мягкий свет, одиночество. Он повернулся: дверь. Ещё: окно. Решётка. Железная заслонка снаружи. Сел. Необъяснимо – внезапная тоска до слез. Исчезли навсегда товарищи по несчастью. И вот одиночество, с глазу на глаз со своим вторым «я», которое уже не походило на него, лохматое и грязное, потрясенное гневом, утратившее хладнокровие. Обхватив руками голову и ссутулив плечи, он закрыл глаза. «Зря я пенял на Хаос... Эх!» Наверное, всё было бы так же, не пожалуйся он. Эх! Тишина давила. «Следовало бы спросить книг...» Стол был гол. Какая странная оторванность! Суровый и насмешливый голос Бывшего, подмигивание Малыша, дряблые щеки Татарева, запах человеческого естества и крепкого табака Хаоса... Ностальгия по всему этому перехватила ему горло. Отделённый – навсегда – от общей беды, один вот здесь, один, один, один, один... Первая ночь была тяжкой, несмотря на удовольствие от свежего белья и простыней. Ганна, Тamarочка, что-то они поделывают в эти минуты? Едва начал засыпать – надвинулось лицо. Светлые буйные волосы вокруг лба, бездонный взгляд голубых окружённых синевой глаз, почерневший рот, – почерневший рот шептал: «Меня пытаются, слышите? Я не могу ответить на все вопросы, ночь напролет вопросы, одни и те же,

всегда по-разному. Я схожу с ума, вы слышите? Ну же». (Голос сделался умоляющим, приобрёл интонации Ганны.) «Помогите же мне, Михаил Иванович...» Вдруг глаза стали уже не голубыми, а карими, и вокруг были черепаховые круги, и это была Ганна, Ганна, которую пытали. «Миша, – говорила она, – Миша, давай с этим покончим. Не противься больше, я так больше не могу, Миша, пожалей нас...»

Он очнулся от кошмара с испариной на лбу и увидел, что лежит один под светом электрической лампочки, в ночной тишине, вне времени. А дни и ночи тихо ушли в пространство.

Всё началось смутной болью в области сердца. Но так уж ли в области сердца? В точности мы не знаем ни где наше сердце, ни что оно такое. Мысль сразу оставила свой обычный бред и странными околицами устремилась к источнику беспокойства. Боль не отступала, как будто пригрелась в этой груди. Михаилу Ивановичу представилась прохладная рука, которая коснулась его тела, дошла до этого места и задержалась там. Ганна шептала: «Люблю слушать, как бьется твоё сердце... И всё-таки это ужасно: слушать стук сердца. Своё порой пугает меня по ночам...» Эти слова и этот жест ещё ни разу не оживали в его воображении, сейчас они вызвали гримасу на его лице, которое пошло каплями пота, может быть, гримасу растерянной улыбки. Боль росла, сверля и раздирая его существо в месте сердца, вместо сердца... Он ощутил, как заострился его нос, кожа на висках сделалась похожей на пергамент, и пот, одновременно и холодный и жгучий – или ни холодный, ни жгучий, хуже: пот ужаса, – оросил его лицо. Возьми себя в руки, это всего лишь сердечный приступ, а если того хуже, тем более возьми себя в руки, возьми себя в руки. Лёжа, он часто разглядывал на потолке камеры выделяющиеся на белом линии и тени. Фантазия обнаружила в них устойчивые сочетания, которые он домысливал по настроению. Он попытался сосредоточиться на этом: японская маска, расплывчатая голова Пушкина, женский торс с обломанными руками, крыло... Пот и боль сильнее этой смехотворной игры. Сознание стало всего лишь лучиком, притаившимся где-то под сводом черепа, освещаая мутный разгром внутри. Боль буравила всю его плоть, он закрыл и снова открыл глаза – этому не было конца, не было... Пот, смертная испарина. На потолке электрическая лампочка.

И боль как пришла, так и стихла. Михаил Иванович Костров, преподаватель истмата Коммунистического университета имени Свердлова, в кальсонах и рубахе поднялся с тюремного ложа, босиком по холодным плиткам подбежал к двери, сдержанно постучал в окошечко, прислушался к тишине мирно освещённой камеры. Кто-то бесшумно скользнул в коридор, послышался щелчок пальцами, разговор басом. Реальность возвратилась вся и сразу. Открылась и закрылась какая-то из соседних дверей. «Слышь, его ещё допрашивают. Каждую ночь, уже пятые сутки... Слышь...» Вдруг дверь распахнулась, и Михаил Иванович отпрянул перед высоченным, с широченными плечами – ремни, португепя – охранником, который вошёл, двигаясь прямо на него и осматривая всё: разбросанную постель, парашу, голый стол, горбушку хлеба, – всё, и самого человека, узника: его подозрительные кальсоны, рубаху, открывающую волосатую грудь, босые, коричневые, как у цыган, и тоже волосатые ноги.

– В чём дело, гражданин?

Ни в чём. Уже ни в чём. То, что я, может, умер бы в итоге, не имеет никакого значения для тебя, гражданин, для этих стен, для Них. Михаил Иванович, скорее, почувствовал это, чем подумал, с какой-то жалостью к самому себе, смешанной с внезапным гневом против Них. Он насупил брови, ноздри его раздувались как всегда, когда он злился, и сказал вежливо и зло (никогда не бывал более вежлив, чем тогда, когда злость заставляла трепетать его ноздри, и это было прекрасным признаком):

– Ни в чём. Показалось, что мне плохо. Извините за беспокойство, уважаемый товарищ.

На него смотрели человечесьи глаза охранника: карие, пронзительные, лишённые доброты, – ах! – глаза, которые прекрасно делали своё дело:

– Да... вы в поту. Бывает. Ложитесь. Завтра я покажу вас врачу.

Бывает? Что бывает? Михаил Иванович улегся, укрылся.

– Не утруждайте себя так, – сказал он с улыбкой, – пустое. Вашего врача я выставлю за дверь, дорогой товарищ.

И сразу отвернулся к стене. Проницательные глаза ещё секунду внимательно следили за ним. Лязгнул засов, и была тишина, ночной свет, неровности окрашенной в серое стены, слабое умиротворение разрядившегося после кризиса тела, приближение сна, последние перед сном мысли, почти всегда одни и те же, хочешь того или не хочешь.

И жизнь ещё не прожита,
Но день за днём в порочном круге
Одна и та же маета, одна и та же маета
Ко мне притягивает руки...

Сердце билось размеренно.

В тёмном углу под окном от сырости краска на стене разбухла. Каждое утро Михаил Иванович делал там отметку ногтем, раз в семь дней проводил черту подлиннее – это и был его календарь. «Уже четыре месяца!» Длительность успокаивала, хотя вся эта затея была бессмысленной. Им больше не занимались, только раз в неделю он отправлял несколько слов бесполезного протеста прокурору или в другие высокие инстанции. Трепачи! Вруны! Воистину отъявленные подлецы. Покой в камере делал своё дело, после всех передраг он чувствовал себя получше, снедаемый, однако, беспокойством по вечерам из-за боли в области сердца, которая возвращалась раз в три-четыре дня. Он потребовал врача. На другой день к одиннадцати часам тихо вошёл первый надзиратель, бросил внимательный взгляд на оконную решётку, голый стол, вощёный паркет и осведомился: «Врача вызывали?» Затем явилась личность в белом халате с совершенно бесстрастным голосом, со взором тоже настолько бесстрастным, что он казался ничего не видящим: «На что жалуетесь?» В первый раз Михаил Иванович не спеша объяснил, что страдает сердцем. Личность в белом халате носила подвешенную на груди коробку, она открыла её, достала пинцетом из особого отделения три пилюльки и сказала: «По одной каждое утро». Как только закрылась дверь, Михаил Иванович разразился сумасшедшим смехом. Наготове пилюлька, чтобы успокоить, подкрепить, подстимулировать, а может, без обследования, полечить и сердце; механическое совершенство: человек, белый халат, коробочка, пинцетик, пилюлька, – доходило до абсолютного идиотизма. Открылось окошечко, и свистящий голос произнёс:

– Гражданин, смеяться запрещено.

Михаил Иванович грянул снова, ещё сильнее. Дверь отворилась, здоровенный, одетый в форму крестьянин сделал два шага в камеру и повторил сурово:

– Прошу вас, гражданин, прекратите смеяться. Это запрещено.

Михаил Иванович чувствовал, что его охватывает весёлое сумасшествие. Три пилюли на столе приобрели огненно-зелёный оттенок, запрыгали сами по себе в воздухе, вздулись пузырями, лопаясь от дикого смеха. Он дошёл до надрыва и топанья ногами, смех его был похож на иступление, а из глаз полились слезы.

– Да замолчите же, гражданин, – сказал охранник уже тише, – ведь меня накажут за вас.

«Как нас повязали друг с другом», – думал Михаил Иванович, пока в нём утихал смех.

На следующую ночь ему стало хуже. Это было где-то в начале пятого месяца. Уже пятнадцать дней он читал: принесли кучу старых пожелтевших книг... Когда вторично явилась личность в белом халате, Михаил Иванович сразу повернулся спиной.

– Опять сердце? – сказала личность. Михаил Иванович не ответил совсем. Пинцет выложил на край стола три пилюльки, бесстрастный голос пробормотал: – По одной вечером, от этого вам будет всё-таки полегче...

В тот же день Михаилу Ивановичу почему-то поменяли камеру. Он потерял пятиугольник неба в верхнем углу окна, который не скрывала наружная заслонка. Новая камера, этажом ниже, была не так светлой, а от мира за окном осталось лишь немного серого камня. Он утратил свой календарь, счёт неделям и месяцам и решил жить вне времени. Потерял окончание романа Уэллса о будущем. Между строк какой-то маньяк неприметными микроскопическими буквами, чтобы избежать бдительного ока библиотекарей, несколько раз вывел карандашом: «Молитесь за палачей, молитесь за жертвы, молитесь за меня». Тяжкая тоска навалилась на Михаила Ивановича. Он запрещал себе думать о Ганне и Тамарочке. Запретил думать о самом себе, о будущем. Запретил себе пытаться понять что-либо... Сжав челюсти и нахмутив брови, он до вечера ходил туда-сюда, повторяя в уме теорию Розы Люксембург о накоплении капитала с возражениями Двоялацкого, Бухарина и своими собственными. Выкурив все свои папиросы, съев на ходу пайку чёрного хлеба, он ложился по сигналу,

По Бухарину «при гипотетическом государственном капитализме, где класс капиталистов образует единый трест и где мы будем иметь дело с организованной экономикой, хотя и антагонистической с классовой точки зрения, но бескризисной, несмотря на недопотребление масс, взаимный спрос всех отраслей производства, как и спрос потребителей, капиталистов и рабочих, будучи определены заранее...» Бухарин пойдёт дальше со своими схемами капитализма, организованного настолько совершенно, что в конечном итоге он становится похож на социализм во всех своих чертах, за исключением права... «Что по этому поводу говорю я? К чему здесь сущность права, игнорируемого экономически?» Приближение ко сну ослабляло его мысль... Михаил Иванович заметил, что едва не впал в застарелый идеализм. И тут в левой стороне груди зародилась боль. А что ты говоришь о смерти, старина? Это метафизический журавль, сущность, что ещё? Тут не до экономики – смерть. Боль заставляла его со стоном кусать подушку, гасила в нём последние отблески реальности – этот резкий избыток электричества, падающий с потолка, – тащила его в чёрное равновесие по ту сторону, по ту сторону... Где-то в мозгу или в душе бесполезно продолжали свой ход тюремные мысли: «И всё-таки, революция...» Он застонал.

Стоило свалиться, чтобы ему преподнесли такой сюрприз! От носа у него пролегли нервные складки, возникло желание нагрубить. Да, например, назвать этого товарища начальника верблюдом, доказать ему, что он положительно похож на верблюда, только это животное полезно и выносливо, оно покоряет пустыни, имеет ценную функцию в торговых обменах, оно вынесло на своих горбах древние цивилизации. Тогда как вы, вы, гражданин! Не знаю, какие грязные функции несёте вы на своей спине и куда ведёт нас ваш караван... Во всяком случае, вы из тех, кто дорого обходится революции... Так думал голый Михаил Иванович, пока его выслушивал врач. «Повернитесь... Так... Выпрямитесь. Малярией не страдаете?» Комната тоже была голой. Военный лет сорока, сидя, удобно скрестив ноги, рассматривал голого человека, его нервные складки, его густую, разросшуюся и вниз, и в стороны, бороду, обезьянью бороду упрямого узника. В петлице две красные шпалы, стало быть, служака в ранге полкового командира или начальника отдела, несомненно, доверенный сотрудник товарища Молчанова, кандидата в члены Центрального Комитета, члена Коллегии ГПУ, члена Особого совещания, руководителя секретного Управления по делам оппозиционеров.

– Одевайтесь, – сказал врач.

Врач заполнял формуляр. Он писал на розовой карточке, которую показал начальнику отдела. Тот что-то тихо спросил и, выслушав ответ, prorokotal:

– А! Великолепно!

Михаил Иванович это расслышал. Всю жизнь этот командир должен был говорить только так: «А! Великолепно». Тупой и довольный. Когда найдёт на ночном столике под шёлковым абажуром записку жены: «Я люблю другого, эх ты, телок», – он машинально скажет: «А! Великолепно». Когда его самого х... в тюрьму за злоупотребления по службе (15 000 рублей неоправданных командировочных), он взглянет в упор на своего начальника, во всём похожего на него, и, конечно, скажет: «А! Великолепно, товарищ начальник».

– Пошли, – сказал командир.

Они оказались в скромно обставленном служебном кабинете. Французские книги за стеклом книжного шкафа.

– Читаете французские романы? – спросил Михаил Иванович агрессивно.

– Нет времени.

На столе ничего, кроме телефона и сигнальных кнопок. Командир неторопливо рассматривал Михаила Ивановича. Протянул коробку роскошных пятирублевых папирос. Подождал, пока Михаил Иванович устроится в кресле, закурит... Подождал ещё, чтобы Михаил Иванович забеспокоился. Вздыхнул и как бы про себя устало произнёс:

– Гм, гм.

«Нервы у меня крепкие, – сказал себе Михаил Иванович. – Продолжайте свои штучки». Вообще-то он начал бояться. На столе появилась розовая карточка, и командир её перечитал. И вдруг:

– Ваша жена и ребёнок чувствуют себя хорошо.

– А! Великолепно.

«Теперь я говорю: «А! Великолепно», – с горечью подумал Михаил Иванович. – Может, мы взаимозаменяемы? Это было бы любопытно. Идея обоюдоострая».

– Вы... действительно серьёзно больны.

– А! Великолепно.

– И я в самом деле не знаю, что вам делать в тюрьме.

– Приятно такое от вас слышать, – отпустил Михаил Иванович вместе с большим кольцом дыма.

Командир покачал головой. Его невыразительный, похожий на струйку мутной воды голос выкладывал слово за словом.

– Кажется, действительно нет нужды разводить между нами дипломатию. Во-первых, мы знаем всё. Много больше, во всяком случае, чем вы думаете. Вы не вполне враг. И не вполне с нами. Не сердитесь, ваше дело я знаю наизусть. Вы порвали с оппозицией в июне 1928, вместе с Иваном Никитичем Смирновым. Но не заполнили в анкете Центральной Контрольной комиссии графу относительно ваших связей внутри оппозиции. Несмотря на неполное доверие по отношению к партии, вы были восстановлены. Четыре месяца спустя вы пишете в письме, адресованном изгнанному из партии контрреволюционеру, который поплатился за свои преступления...

Если бы в его груди со всего размаху ударили в колокол, Михаил Иванович не услышал бы его с такой отчётливостью, с какой отдались в нём гулкие удары сердца. Тяжесть в висках, в

горле, перехватило дыхание... «Упрятали Сашу. Вот почему он перестал отвечать на письма. И за что, великие боги, за что?»

– Вы пишете: «Коллективизация, в её теперешних формах, с её насилием и беспорядком, закончится тем, что настроит против диктатуры пролетариата всё крестьянство». Вы делаете в завуалированных выражениях намёк на волнения в Узбекистане. Заметьте, я мог бы спросить вас, как вы об этом узнали, и указать вам на недопустимость внутреннего шпионажа. У нас есть это письмо. Мы сразу же сделали с него копию, а сейчас располагаем и оригиналом. Далее у вас: «Боюсь, что И. Н. не прав. Преданность ослепляет его, и в этом деле о неудачных изданиях Трубкин его укатает, как укатал всех нас...» Помните это? Может, я лучше воспроизвожу ваш стиль, чем вы сами? Такое иногда бывает. Трубкин – почему вы не краснеете? Думаете, мы не поняли? Вам, старому нелегалу, использовать такие ребячьи хитрости для обозначения признанного вождя партии? Не отрицаете? Не надо жестов, лучше подумайте.

Вы остроумны. Если бы я обвинял вас в контрреволюционных речах, вы могли бы запротестовать? Но считали ли вы себя преданным членом партии, когда рассказывали анекдоты актрисочкам? «Знаете, Зина Валентиновна, разницу между большой бедой и всенародным бедствием? Представьте себе, что один очень большой руководитель падает с балкона восьмого этажа ЦК на мостовую. Это была бы большая беда. А теперь представьте, что он уцелел. Это было бы всенародное бедствие». Я не имитирую ваши интонации, Михаил Иванович, от этого анекдот теряет свою сочность, не так ли? Какая дурёшка Зина Валентиновна, вы заслали её далеко в холодные края вашими остротами, которые она повторяла повсюду. Будете отрицать, что в точных выражениях это называется дискредитировать вождей партии?

Михаил Иванович почувствовал, что краснеет, потом бледнеет. Потом на лбу выступила испарина.

– Хочу перейти к вашим беседам с Костышевым, который изложил вам 10-й и 14-й номера «Бюллетеня оппозиции». Я мог бы процитировать ваши же слова, чтобы показать, с каким презрением в узком кругу вы произносите некоторые имена...

Костышев, Костышев, и его тоже! Провокатор, трус или... Это, однако, совершенно невозможно. Его не назвали бы, если бы что-то было... Тогда кто? Как? Может, его жена? Полинявшая блондинка, которая спала за ширмой – притворялась спящей, конечно же, слушала – хотя мы разговаривали совсем тихо, нос к носу, локти на газетке со стаканами вина, грустные до смерти, едва осмеливаясь признаться себе в своей огромной тревоге?

– Вы преподаете. Ваш курс о французской революции, если анализировать его страница за страницей, обнаруживает столь злостную контрреволюционную пропаганду, что вам никогда не выйти – да, никогда – из лагерей. Кого вы подразумевали в своей лекции о Баррасе, Тальене, Бурдоне? А ваше деление на правых и левых термидорианцев, подлинных и вопреки себе, ха-ха! Вы полагаете, что мы дремлем, а молодежь, которая вас слушала, вся предала партию, как и вы? Ни единой строчки о Бабефе, которая не была бы преступным намёком...

Оцепенев и подняв голову, с какой-то гримасой на лице, Михаил Иванович чувствовал себя почти без сил от негодования и омерзения. Дураки и гниль. Вы видите намёки в каждой строчке потому, что нынешние Бабефы в ваших тюрьмах. Вы – живой намёк на всякую контрреволюцию. Но нельзя, бесполезно пытаться сказать хотя бы слово. Каждое обернулось бы против него же и, попав в эту мутную струйку, приобрело бы прямо противоположный смысл. Был и страх. Бесцветный голос продолжал:

– В конце концов, вы решились нарушить вашу показную преданность партии и образовали вместе с Костышевым и Ильиным Комитет трёх...

– Ложь, – вскрикнул Михаил Иванович. – Ложь! Ложь, ложь!

– Нет, правда, – отозвался блеклый голос, – зря вы сердитесь: они сознались, вот у меня подписанные ими показания. Они изобличают вас. Вы подняли на партию преступную руку. Не знаю теперь, что может вас спасти, кроме чистосердечного раскаяния, искренность которого придётся доказать...

Значит, вот куда мы пришли. Знают прекрасно, что всё, что они говорят, – ложь... Чего же они хотят? В онемевших пальцах Михаила Ивановича, который был сам не свой, потухла папироса с длинным, согнутым столбиком пепла. Пепел мягко отваливался. Так сдает ослабевшая воля. Нет выхода. Сплошной абсурд. Спротивляться? Бесполезно. Они способны на всё. Уступить ещё раз, войти в игру, унижаться, врать – к чему это приведёт? Он с глухим гневом вспомнил осмотр...

– Товарищ следователь, – сказал он сухо, – все эти бредни меня утомили... отошлите меня в камеру, я хочу спать. В любом случае, больше я ничего не скажу...

Он тяжело поднялся, опираясь обеими руками на край стола, не сознавая, что его шатает.

– А! Великолепно, – произнёс он с какой-то шальной радостью, как если бы только что узнал человека, который сидел напротив, нежно лаская рукой кобуру револьвера. – Вот послушайте, уважаемый товарищ следователь, мои любимые стихи:

А сердцу осталось
Сто двадцать ударов,
Сто двадцать ударов...

но самое замечательное, что этому человеку было совершенно наплевать...

– Хотите, – сказал инквизитор, – ходатайствовать о свидании с женой?

– Нет.

Мудрее всего было бы умереть. Скоро, без сомнений, именно это со мной и случится (сто двадцать ударов)... Прощайте, Ганна, Тамарочка. Ганна снова выйдет замуж. За ней ухаживал толстый Быков, как знать, может, они уже спят. Как иначе могла бы она прожить на свой оклад статистички? Шкура у Быкова сальная, рожа надутая, свиньячья, а у Ганны тело гладкое и свежее и душа как тело, только беззащитнее. Пусть он лезет в это тело и овладевает этой душой... Прощай, Ганна, ребёнок должен жить... (Это были тягостные и низкие мысли, которые повергали человека на его одре в противную дурноту.)

Я не ревнив, и всё же меня тошнит, как от морской болезни.

В 1923 нас разгромили благодаря нашей доверчивости. Мы ещё верили, но было уже слишком поздно. Нас было всего-то несколько тысяч таких, кто хотел продолжать революцию, когда всем уже было достаточно. Люди стремились к покою, хотя ничего не довели до конца. Мы строили теории, искали точные формулы действия, хотели взрывных истин, – тогда как другие, во сто раз более многочисленные, чем мы, хотели всего лишь проводить лето на водах, дарить женам шёлковые чулки, спать с какими-нибудь пухленькими созданиями... И ты, брат, тоже. Ты убивал воскресенья, играя в карты и попивая тонкие крымские вина; потом провожал по набережной Мойки хохотушку Машу с белоснежными зубами и луноподобным личиком. Ты её не любил, знал, что никогда не полюбишь, да вы и не говорили о любви; она рассеянно расспрашивала тебя об истории партии, но, вступая под сень Летнего сада, хорошо знала, что ты вдруг остановишься перед нею, решительно возьмешь за плечи и, ни слова не говоря, покроешь её лицо влажными поцелуями; она была вся в ожидании этого мгновения: вспомни её податливую запрокинутую голову, холодные, сжатые губы, закрытые глаза... Потом вы молча двигались

дальше, и в свете первого фонаря ты ровным голосом продолжал: «После 2-го съезда, Маша, объединительная тенденция...» Ты хорошо понимал, что терзаешь её. Сейчас это бледное воспоминание терзает тебя: ведь жизнь твоя кончена. Ты цепляешься за него, ведь волнения плоти ещё возвращаются к тебе. Вот уж бессмысленно. Мы мним себя единственными и неповторимыми, считаем, что мир без нас опустеет, но в сущности занимаем в этом мире такое же место, как муравей в траве. Муравей бежит, таща яйцо букашки, – вот главная задача, для которой он рождён. Ты, не ведая того, давишь его, он и сам этого не сознает, но ничего не меняется. Муравьи будут до конца света, они будут отважно таскать в закрома яйца букашек. Не страдай от своей ничтожности, пусть это тебя утешит: теряя себя, ты теряешь так мало, а мир не теряет ничего. С высоты полёта самолёта хорошо видно, что города – это муравейники...

Тифлис, Казбек, Эльбрус, Ростов, Москва из поднебесья. Ледники как звёзды, вспыхивающие на земле. Почему тот, другой, который в тебе, так хотел упасть в тот памятный день? Тебе было страшно, а тот, другой, склонялся над ледниками с лёгким головокружением. Значит, в самом себе ты перешёл границы. Ты никогда не падал в собственных глазах ниже, чем в эти мгновения, купаясь в небе. С того самого дня кончилось и твоё мужество, и твоя правота. Конец высотам, теперь тебе брести по равнинам трусости. Только ты решился на такой порыв, повторяя себе: *сопротивление невозможно, невозможно*, как появился Метех, который в лучах заходящего солнца казался сделанным из алых каменных блоков и почти чёрных теней. Вид пенящейся Куры освежал; в ней полоскали белье прачки, Тамары, Татьяны, а ты, склоняясь с высоты в тысячу метров, нежно, о чём они не могли даже догадаться, сказал им: «Молодушки, я – трус, не любите таких, как я». В решётчатых окнах замка были, разумеется, лица узников, следивших за полётом Р-2, к которому был пристёгнут ты, в шлеме, опьянённый скоростью, с секретным пакетом грузинского ЦК в адрес ЦК московского – и твоё маленькое поражение, твоё гнусное маленькое поражение... Как прекрасна была земля! Степи, потом леса, живая, шевелящаяся, яркая карта. Насколько хватало глаз, волновалась листва, слепило солнце. Обернулся Грегор, пытаясь перекричать шум винта, и вдруг вы стали падать, стали поразительно медленно падать. Ускользнул лес, открывая высокие скалы, удивительными тенями выделяющиеся на голубом и золотом фоне. Их окружала небесная река. И тут ты едва не закричал от радости при мысли, что падаешь, хотя от ужаса твои члены охватила мелкая истерическая дрожь. Утрата секретного пакета на несколько дней отсрочила бы некоторые гнусности в крутом падении революции...

Отказавший было винт заработал снова, на горизонте показался Ростов – тяжёлые, плотные тени на суше, искривлённой так, будто море вошло в неё стальным клинком.

Мы были разбиты в 27-м. Вернулся из Уханя Саша. А ты бегал по комнатам замоскворецких рабочих с отпечатанными на машинке бумажками в кармане френча. С каждой пройденной лестницей тебе всё лучше открывалась старая нищета. Победоносный пролетариат, возвращённый в хижины. По углам на потемневших от времени обоях виднелись запятые копоты, и ты догадывался: ночь, голый мужчина, отрывающийся от тёплой женщины, чтобы прижечь клопов. Мерзкая жизнь. Пять-шесть лиц с одним вопросом: какие новости? Каждый шёл окольными путями, чтобы запутать слежку. Ты думал: «И тем не менее *они* знают всё, впрочем, один из этих пяти, разумеется, провокатор. Который? Которая?» Новости, товарищ, таковы: Троцкий в ЦК пять минут продержался на трибуне, невзирая на крики. На заводе «Богатырь» двадцать девять увольнений. Ухань выражает неодобрение крестьянскому восстанию в Чанша. Во Франции Трен переходит в оппозицию... Это была единственно хорошая новость текущего момента, её комментировали, но ты-то прекрасно понимал, что при таком гигантском крушении она, в сущности, не имела никакого значения... Ты исполнил свой долг – не сказал этого, разъясняя тезисы Трена. Возврат к нелегальному положению был последней реальной надеждой. Наполнять тюрьмы преданными людьми, раз всё кончено. Начать с начала. А потом? Потом они возьмутся нас убивать. Не совершат

ошибки, давая нам жить в тюрьмах. А тогда? Всё равно держаться. Может, кто и выживет. А трусы? Шкурники? Вернувшийся из Китая с переполненной кровью памятью Саша ночь напролет разубеждал тебя, это было последнее ваше чаепитие на продавленном диване. (Книги вокруг содрогались на этажерках. Мёртвым был стол, заваленный пеплом и заржавленными ручками. Для чего наводить порядок, если...) Саша говорил:

– Ни одна пишущая машинка не избежит контроля при научных методах репрессии. Стукачей будет столько же, сколько товарищей. Даже больше, если надо. Всё кончено, поверь мне. После Германии и Китая остаётся рассчитывать только на самих себя. Лет на двадцать революция села на мель. Те, кто об этом заговорит, будут здорово правы, но их живо побьют. Дай мне выпить. Да налей же. Пока я не вполне пьян, приходится видеть всё таким, как оно есть. Слушай, брат, сногшибательный народ – китайцы. Ночью наши профсоюзы велят развесить плакатики: «Товарищи, спокойствие, дисциплина и так далее, сдавайте оружие...» Утром видишь прохаживающихся по улицам молодых офицеров в хаки, в круглых очках. Впереди и сзади какие-то грязные типы. Хватают кого ни попадя – пролетарская морда, улавливаешь, узнается быстро, – проводят перед лейтенантиком с принципами, который, не глядя на беднягу, произносит одно слово. И тут ты замечаешь среди них здоровенную скотину с бритым черепом и кривой саблей. Пролетарий, ни слова не говоря, становится на колени и вытягивает шею. Вот где люди, умеющие молчать перед палачом! Такого не забудешь. Ужасно. Скотина размахивается, сабля описывает круг, голова отделяется с одного удара, кровь хлещет фонтаном в метр. Я курил на тротуаре возле двух американцев, от которых разило виски. В моем кармане лежала формальная директива Исполкома: «Запретить и осудить сопротивление». Никогда не было у меня большего желания быть случайно опознанным и убитым в каком-нибудь закоулке. Если бы такое произошло до передачи директивы, моя смерть могла хоть как-то послужить революции... Саша продолжал:

– И всё-таки бумагу Ивана Никитича надо подписать. Капитулировать. А что другое ты можешь предложить? Сесть в тюрьму – это ничего не даст. Чтобы спокойно порвать с прошлым, по крайней мере, пусть позволят нам строить заводы в качестве противовеса спецам, которые со своей неотразимой и обманчивой компетентностью бог знает куда ведут. Пятаков прав: станем спецами. Если революция сможет когда-нибудь возродиться, то только на новой технической основе, с новым пролетариатом. Нас к той поре не станет, но мы хоть чему-то послужим. Те, кто предлагает сопротивляться, – безумцы, их или прихлопнут как мух, или контрреволюция для начала даст им собрать силы, чтобы разнести потом.

– А не это ли как раз творится в Центральном Комитете?

Ты осмеливался говорить такие слова только потому, что был достаточно пьян. А Саша кричал: «Разумеется! Мы меж двух контрреволюций, вот, это же так очевидно!» Пустую бутылку он бросил за окно, распугав воробьев на пустыре. Ты чувствовал, как каменеет твоё лицо и сжимаются челюсти. Сорок пять лет. Усталость. Больше трусости, чем сил.

– Саша, друг, мне хочется набить тебе морду! Мне хочется, чтобы ты меня убил!

– Нет, – серьёзно сказал Саша, – я пошёл за другой бутылкой.

Саша в тюрьме. Мелкая буржуазия свирепо травит нас, даже когда мы сдаемся. Боятся нашего прошлого, нашего молчания. Когда мы уступаем, она думает, что её хотят обмануть. Когда мы от усталости и желания жить смыкаемся с нею, она боится, как бы её не предали однажды. Люди 17-го и 20-го никогда не покажутся ей вполне выхолощенными. Они коснулись земли обетованной, вкусили от новых хлебов, прошли проверку огнём, голодом и верой – этим они отмечены навсегда.

– Тем хуже для нас.

На следующий день, с утра, он спросил бумаги, чтобы написать в Центральный Комитет – и ещё раз сдался. В его письме были все необходимые слова: построение социализма, высшая мудрость ЦК, правильность его линии, осуждение ошибок, идущих от непонимания, от мелкобуржуазного духа, от контрреволюционного влияния бывших товарищей, ныне отвергнутых и заклеянных... Он выводил это с осунувшимся лицом, исказив рот в гримасе, одновременно и злой, и брезгливой. Закончив, он сглотнул слюну, растянул рот в улыбке, которая перешла в зевок, потянулся – и услышал свои собственные, произнесенные громко слова:

– Иди, прохвост!

Открылось окошечко в двери:

– Гражданин, громко разговаривать запрещено.

Костров с каким-то пафосом ответил:

– Гражданин, вот моё письмо в ЦК.

II ЧЁРНАЯ

Льды на Чёрной вскрываются поздно, в середине мая. И вот снега сошли, если не считать затенённых впадин, в лучах стоит, отсвечивая, вода. Можно видеть игру прилетевших птичьих стай. Всю землю с остатками её белизны заполонила вода, крылья, небо. Откуда берётся столько птиц? Одни летят клином. Другие собираются в тучи, кружат и рассеиваются, как туманности. Между небом и землёй разливается тихая радость. На исходе дня жители Чёрного собираются на горе, господствующей над рекой, чтобы полюбоваться простором, в котором рождается весна. Эти озабоченные люди похожи на грязную землю, которую они топчут, похожи на весь городок с его домами из брёвен, которым время сообщило пепельный цвет. Какая-то старуха бормочет: «Вот и гагары... (вздых). Из моего времени, папаша...» Может, в её время было больше гагар, распускавших над лугами крылья? Мужик в надвинутой на глаза фуражке, в тесном рыжем полушубке громко объявляет: «Надо быть, ещё дён восемь – и Чёрная совсем вскроется...» Молодые голоса возражают: «Ври больше, дядя, восемь дён! Сдурел, что ли?» Ещё восемь дней – это слишком для той тяги к жизни, которая приходит с талым снегом после семи месяцев пробирающего до костей мороза. («Тем более, жрать нечего: щи из кислой капусты да хлеб ржаной – вот и всё; вообще-то, это дерьмо, но и его не хватает; я вас спрашиваю, гражданин, какой организм может вынести такие морозы без жиров?») Небеса окрашены в жемчужные, почти лазурные тона, и такая с них нисходит благодать, что всё воспринимается с надеждой.

– Раз уж попались, – посмеивается Авелий, у которого резкий молодой профиль. – Весна, братишка, это значит сев. Сев – это значит репрессии. Репрессии – это значит: нет зерна в августе, нет хлеба в декабре. Нам повезло.

А рядом Родион вторит, следуя своей мысли:

– После ударных бригад придётся выдумывать что-то другое, чтобы заставить людей работать. Взгляни на луга. Здесь были дороги, слушай, туда и туда тоже, к Медвежьему лесу – там их больше, видно, больше ездили, больше лошадей прошло.

Двое парней в бараньих полушубках, сером и коричневом. На головах старые ушанки. Взгляд у них слегка насмешливый и чуть самоуверенный, что сразу отличает их среди городских парней. Из пролетариев всё-таки! И потом, под особым надзором знаете кого? Стало быть, у нас есть некоторое право рассуждать. Оплачено. И право говорить, раз уж высланы – и не из тех, которые каются, все одобряют, вежливо говорят спасибо, когда тип из

госбезопасности дает им пинка под зад. Единственно свободные люди на земле социализма – это мы, беспартийные, вышедшие из тюрьмы, готовые к возвращению туда, вынужденные раз в пять дней отмечаться, снабжённые официальной бумагой такого рода:

**СССР
РСФСР**

*Вида на жительство
не заменяет*

Государственное политическое управление

Отделение в г. Чёрное

Удостоверение выдано гражданину..., высланному в административном порядке на основании решения Особого Совещания Управления Государственной Безопасности. Обязан представляться каждые пять дней в канцелярии коменданта. Запрещено удаляться за пределы города более чем на пятьсот метров.

Подписано: *Уполномоченный
Секретарь*

УГБ

(Печать, дата, красными чернилами порядковый номер.)

Самое трудное – обходиться без калош во время весенней распутицы и без еды вечером, когда хочется есть... «Ты заметил, Родион, как хочется есть весной?»

На горизонте темнела полоска леса. На высоком мысу в излучине реки больше двух веков строили этот городок оторванные от пашен крестьяне. Здесь им казалось, что они достаточно далеко ушли на суровый север, чтобы их забыли. Они наполовину обманулись, но что тут поделаешь? Однажды внукам, в свою очередь, понадобится бежать так же далеко, как убежали они.

С набережной Революции (а в действительности там нет набережной, есть только широкий запущенный бульвар на горе, который вдруг обрывается уступом из чёрного камня в сто метров над рекой) открывается на пятьдесят километров вокруг равнина и леса, вздымающиеся как море; ни пятнышка, ни жилья, ни огонька в ночи. Огоньки только в небе по ночам, и то лишь в большие морозы, или сказочными летними вечерами трепещущие от вселенской ласки звёзды блещут сверхъестественным светом, который будит в вас вкус к жизни. Чёрное и Чёрная. Название реки ей идёт, несмотря на резвость торопливых, слегка кипящих волн, бесконечно несущих лохмотья неба над тёмными камнями в глубине, которые можно разглядеть сквозь почти прозрачные воды. Под городом тоже выход чёрного камня – результат какой-то геологической катастрофы. Земля творит себя такими революциями, хороня, перемалывая целые леса, гомонящие от птиц... Рассказывают, что Серафим Безземельный, основатель города, бежавший больше от безверия, чем от кабалы, "прибыв на этот крутой утес со своей женой Надеждой, сыновьями, снохами, внуками, кричал: «Хвала тебе, Господи! Исполнилась воля твоя! На этих чёрных камнях мы построим себе дом, на этих чёрных камнях мы станем есть свой чёрный хлеб антихристового времени...» Умом он предвидел всё и, сидя на вершине перед пустынным Севером, предчувствуя свою смерть, изрёк: «Не лишай меня, Господи, сей чаши, ибо доказать хочу свою веру». Господь внял молитве – наверное, единственной, которую он услышал за все века на русской земле, где каждыйпил свою горькую чашу, можете не сомневаться, до последней капли, и этим не кончилось. Из скал встали бревенчатые избы; в августе заколыхались золотые хлеба; девушки, которые дважды в день таскали с Чёрной, выгибаясь под коромыслом, бадейки прозрачной воды, протоптали босыми ногами по траве, земле и даже камням извилистую тропку, которой они ходят уже двести лет; ныряли в Чёрную, опьяняясь свежестью и отвагой, сверкающие в лучах летнего солнца тела мальчишек, которых подстерегали коварные воронки, каждый год увлекающие вдруг на самое дно несколько безрассудных вихрастых головёнок... Тельца находят тремя километрами ниже на песчаной косе, где они выглядят безнадежно уснувшими и избитыми, неестественно прозрачно-голубыми. В те времена, когда был основан город, ему выпало десять спокойных лет. Потом на краю северного света, в Пустозерске, был сожжён великий еретик, а гонитель, великий патриарх, умер гонимым, и его останки спустили на барке по другой реке под молитвы и рыдания

народа. Серафим Безземельный молился за этого человека веры, который посягнул на веру, расколол церковь, предал, изгнал, отлучил, оскорбил истинно верных. Другой патриарх, насаждая свою злобу и власть, вспомнив о Серафиме, призвал его в Кремль, с христианским смирением предложил ему хлеб, соль, прощение и сказал: «Покайся, Серафим, и грехи твои будут забыты, и я благословлю тебя». Серафим же в ответ возопил: «Сам покайся или молчи, Сатане служишь, бесстыжий!» И приковали Серафима в подвале Троицкого монастыря. Зима там была вечной. Слышался колокольный звон ложной веры. Но ему довольно было сомкнуть веки, дабы узреть мироносный Святой Лик. Тогда, дрожа и лязгая зубами от холода, но волей собирая последние силы, твердил он: «Господи, не отрекусь от тебя ни в чём, не отрекусь от тебя ни в чём, не отрекусь ни в чём от люди твоя». Там и умер он, отупорствовав годы, оттерзавшись тоской по воле, чёрным скалам и детям своих детей. О жизни его, сумерничая зимой, рассказывают всякий раз с совершенно другими подробностями; такие разговоры воодушевляют инвалида Тихона, который в 18-м проделал с Блюхером весь Уральский поход, и, в свою очередь, он пускается в воспоминания о боях, плене, о том, как его расстреляли на берегу Белой. Офицер перед строем пленных скомандовал: «Еврей и комиссары, три шага вперёд». Вышли трое. Следом Тихон, встал рядом – молодой, русоволосый парень в ремках. «Ты ж не еврей и не комиссар, сукин ты сын! Пули захотел, эй, сопляк!» – кричали ему. «Я, ваше благородие, за коммунию», – заявил Тихон, хотя и не знал толком, что это такое и всё нутро его вопило от страха. Страх его и спас, опрокинув в овраг сотой долей секунды раньше пули. А теперь он торгует папиросами – когда их завозят – в лавке Райкоопсоюза на рыночной площади. Среди местных можно найти и другие приметные имена: есть один Серафим Серафимович, есть торговка солёными огурцами Надежда Серафимовна, есть член партии Любовь Серафимовна, а секретаря Совета зовут Аввакумом Несторовичем.

Между Серафимом и Тихоном мимо Чёрного и Чёрной прошло два суетных столетия истории. В начале XVIII века город осадили зыряне; они стреляли камышовыми стрелами с наконечниками из рыбьей кости. (А может, это были не зыряне.) Город горел примерно раз в тридцать лет: от пожара к пожару и поколения сменялись, и все усовершенствования были связаны с этими великими бедствиями. Революция случилась только раз: начальник полиции скрылся, и тогда некий политический ссыльный созвал врача, агронома, ветеринара, учительство, рабочих рыбзавода, извозчика, почтаря и объяснил им, что отныне они образуют Временный комитет самоуправления города и уезда. Агроном Бабулин, тучный человек с низким лбом, сказал: «Понимаю. *Республика* – общественное дело. Вот здорово. Что же будем делать?» Почтарь предложил составить послание Временному правительству князя Львова, врач – декретировать вакцинацию учащихся...

Подготовленная веками великая буря начиналась при всеобщей наивности. Где они, персонажи минувших дней, и кто помнит об этом? Каждое половодье обновляет землю. Тот политический ссыльный, эсер, кажется, если не народник, максималист или что-нибудь в этом роде, звался Лебёдкиным. Его знали давно, зимой он одевался в чёрную шубу, летом – в подпоясанную шёлковым шнурком белую блузу, бородка у него была жиденькая, а тон – полупрофессорский, получудаческий. С юности перечитывал он одни и те же книги: Бокль, Лавров, Михайловский – и, разумеется, передумывал одни и те же мысли. Он не удивился, когда однажды утром, на двенадцатом году своей ссылки, разматывая принесённую приятелем-телеграфистом катушку телеграмм, вдруг понял, что всё свершилось.

– Ну вот, – сказал он, поправив на носу пенсне, – мы победили. – И добавил с задумчивым видом: – Теперь матушка-Россия поплатится за удовольствие.

Спустя несколько дней его посетил странный гость... В тот самый момент, когда он, уместившись на диване, собирался задуть лампу, в ставень тихо стукнули. Лебёдкин, закутавшись в древний халат, открыл окно, оттолкнул ставни и разглядел во тьме несурзное

лицо в меховой шапке с длинными висячими ушами. Приплюснутый нос, маленькие косые глаза.

– Нынче вы голова, – сказал человек приглушённо, – стало быть, мне надо с вами поговорить, Иван Василич.

Лебёдкин облокотился на подоконник, майская ночь была почти тёплой, в тишине с головокружительной кротостью распростёрлись созвездия.

– Слушаю вас, товарищ...

– Я ничто, – сказал человек. – И никто. Но я очень понимаю всё. Я рыбак с нижней улицы, звать – Алексей Матюшенко. Вам это без разницы, мне тоже. Денег мне надо, Иван Василич, чтобы ехать в Петербург для общего дела, вот.

Лебёдкин созерцал эту непрозрачную голову, вырисовывающуюся на фоне Млечного Пути.

– Денег... – произнёс он, ничего толком не соображая. – И для чего?

Глаза человека, большие, как самые крупные звёзды, были совсем близко от его глаз, дыхание их смешивалось.

– Надо его зарезать, – сказал человек, – и я зарежу его, или всё пропало, мы ничего не добьемся... – Он положил на подоконник широкую бугристую ладонь с расставленными пальцами.

– Кого? – спросил простодушно Лебёдкин.

– Царя Ирода.

Лебёдкин пощипал себя за бородку. Не коснется ли он звёзд, протянув руку? В тишине было что-то колдовское. Он коснулся лишь плеча рыбака Алексея Матюшенко и услышал свой ответ:

– Ты, наверное, прав, товарищ Алексей, будет правильно, если ты поедешь туда, как бы ни было трудно преуспеть в таком деле. Я же, знаешь ли, слишком стар. А денег... У меня их нет, брат.

– Тогда, – сказал собеседник, – я пойду пешком. Буду воровать. Но дойду. А ты молчи.

– Да, – помедлив отозвался Лебёдкин, – пора ставить вопрос о власти... О такой власти, какой никогда не было, которая будет иметь неслыханную силу, неисчерпаемую, беспощадную и великодушную...

– Сначала беспощадную, – выдохнул Матюшенко, – чтобы очистить землю. Мы станем добрыми после... Ещё будет время.

Показалось, что он улыбнулся: «А раньше я не смог бы». Они пожали друг другу руки. Матюшенко широким шагом двинулся к Чёрной, которая сверкала в близкой пропасти, как всегда.

Лебёдкин закрыл ставни, улегся, укрылся шубой, минутку поколебался, прежде чем погасить свет, пытаясь вспомнить какие-то строчки из Некрасова. Во мраке вставало только одно слово: Россия, Россия, – и это было ужасно и сладко, как простое и таинственное дыхание спящего рядом чудовищно сильного существа. Заснул Лебёдкин между двумя грёзами, которые соблазняли и пугали одновременно. Он мечтал поехать в Петербург, не смея решиться на это из страха не найти там никого после стольких лет. Подумать только: год предварительного заключения, два – в Орловском центре, два – в Тобольске, двенадцать – в ссылке... Вернуться, чтобы оказаться одиноким, безвестным, потерянным, ненужным в вихрях революции? Свобода прекрасна и в Чёрном... Иногда, чтобы ощутить её в своей душе, он садился на чёрный камень на гребне утеса, царящего над рекой и простором, на том самом месте, где некогда думал свою думу Серафим Безземельный. Второе желание, вторая

тревога настигли его тогда же. А будет ли когда-нибудь в моей жизни женское плечо, нежное, податливое тело рядом с моим ночью? Он предчувствовал, что этого не будет никогда больше, никогда больше, что его безутешная плоть уже не удостоится этого великого счастья, что его руки больше никогда не посмеют даже пытаться обнять, и, как ребёнок перебирает бусинки, шептал про себя нежные, зовущие имена: Татьяна, Галина, Вера, Надя, Люба, Ирина, Василиса... Никого. Бывшая Карнауховская, где профсоюзный клуб и ресторан № 1 Общепита, называется ныне улицей товарища Лебёдкина, потому что его нашли однажды утром за оградой рыбного рынка с пробитой головой. Мозг вытек на одуванчики, но пенсне в кое-как чиненной чёрной ниткой оправе сохранилось на носу в целости.

Прошли годы с их трудностями и тяготами; Казацкая улица стала Красноармейской, бывшая Трактирная называется Советским бульваром, площадь Святого Николая – площадью Ленина; улица Марти, идущая через городской сад и пересекающая улицу Клары Цеткин, – это бывшая Ивановская... Управление госбезопасности занимает дом старика Ананьева; этого Ананьева убили в 18-м прямо на пороге. В 31-м, одном из худших годов, из центра с директивами прибыл инструктор Союза безбожников Петрошкин; собранные в кино «Коминтерн» девятнадцать рыбаков и кожевников единодушно проголосовали за снос церкви; когда Совет отказал из-за недостатка средств в выделении необходимой суммы, Союз безбожников и партия мобилизовали рабочих на воскресник, искусно распространив слух, что речь идёт о разгрузке пришедших в Райкооп машин с мануфактурой... На призыв тотчас откликнулось триста добровольцев. Как только им сообщили, что на самом деле речь шла о сносе церкви Святого Николы, чтобы покончить с капиталистическим, империалистическим и феодальным пережитком, который есть опиум народа и гидра контрреволюции, из них осталось двадцать семь, разумеется, лучших, из числа наиболее сознательной молодежи – «самый цвет города», как отметил Петрошкин в своём отчёте обкому. Иконы и церковное убранство снесли на площадь, чтобы сжечь, но «подстреканная кулачеством и попами несознательная толпа силой вырвала у нас народное добро, приготовленное к уничтожению посредством огня в интересах трудящихся, и это доказывает, что отсталые верования ещё сохраняют глубокие корни в сознании погрязших в вековом невежестве непролетарских и мелкобуржуазных масс Чёрного...» (отчёт Петрошкина). Двадцать семь сознательных высадили оконные стёкла, что было легче всего, и попытались сокрушить голубую луковку церкви, благо доступ к ней облегчали устроенные для ремонта подмости, но разломать её не вполне удалось. Золочённый крест, который сохранял равновесие за счёт собственной тяжести, накренился, но не упал; склонённый над людскими судьбами, он и поныне там. Теперь это, похоже, не крест, а вопрошающий ИКС; развороченная луковка так и осталась зиять – церковь же, и это самое тягостное, превратили в склад для товаров Райпромокопа. (К счастью, товары там редки и распределяются быстро.) Пустые лари превращаются в труху; в проломленную луковку врывается ветер, кружит в пустоте и, вырываясь через узкие окна, наполняет здание протяжным ропотом, заставляющим креститься пожилых женщин. «Слышь, бесы справляют свой шабаш...» Против церкви, на маленьком круглом холмике клумбы, поместили бронзовый бюст Ленина, постамент к нему перешёл от бюста царя Александра II, подаренного некогда городу богачем Ананьевым. Во избежание детских шалостей монумент окружает колючая проволока. Тёмная бронза выглядит ничтожной в масштабах площади, совсем одинокой в кружке травы посреди широкого пространства утоптанной земли. Грязь чаще всего мешает к нему подойти. Обращенный спиной к церкви, вождь смотрит на три здания: райком партии, пивную «Саломея» и Совет; справа от него госбезопасность, слева – закрытый клуб ответработников и сотрудников политической службы. Таково сердце города на Чёрной. Между пивной «Саломея» и кино «Коминтерн» на освещённых несколькими фонарями трёх сотнях метров деревянного тротуара, где в хорошую погоду прогуливаются вечерами горожане, такое многолюдство, что голоса и шаги, сливаясь, создают шум пчелиного улья. Здесь назначаются свидания, зарождаются чувства, вспыхивает ревность; здесь шмыгают

маленькие торговцы папиросами поштучно, способные раскрыть одним движением бритвы карман приехавшего утром уполномоченного областной кооперации. Юноши ходят за девушками, которые, взявшись за руки, занимают всю ширину дощатого настила, и какая-нибудь постоянно оборачивается, чтобы, пожимая плечами, открыв единственный в мире профиль, ответить парню. Елькин, Рыжик, Авелий, Родион, Варвара Платоновна, изолированные и объединённые, изумительно вольные и лишённые самых основ свободы, оказались здесь, каждый следуя путём своих убеждений, достаточно тяжким путём. Четверо мужчин и одна женщина – пятикратная угроза режиму, пять дел, пять кружочков вокруг имён с номерами на большой кодированной карте (секретной) ссылки левых, крайне левых, правых, стоящих вне уклонов и благонамеренных контрреволюционных оппозиционеров-коммунистов в московском кабинете (секретном) Особой коллегии Госбезопасности, связанной прямым проводом (секретным) с Кремлем, прямым проводом (секретным) с рабочим столом генерального секретаря и, в конечном итоге, прямым проводом (секретным) с кухней Истории...

Елькин ходил этим путём два раза в день. Он ведал в Госрыбтресте разработкой планов улова, заготовки, распределения сырья и т. п. на текущий год, на будущий, на три года вперёд, и всё в соответствии с директивами областного и союзного руководства, Центральной плановой комиссии, Центрального комитета и вождя (применяя знаменитые шесть пунктов, определяющих условия для работы по-новому). «Я знаю, – говорил он, – что должно быть поймано за пять лет. А? Никто не знает, что будет поймано...» На углу Тюремной улицы, над кооперативом, полным бесполезных галстуков и зубного порошка, употребляемого населением весной для побелки, трест занимал анфиладу комнат, где царил бесконечный стрекот пишущих и счётных машинок.

Тюремная улица сохранила своё название случайно, по недосмотру, а может, потому, что истина порой без усилий умещается в словах, которые ей предлагают. С тех пор как область постановила поднять Чёрное до ранга районного центра, маленькой старой тюрьмы прежних времен стало не хватать для размещения раскулаченных богатеев, подкулачников, мелкого деревенского начальства, снисходительного к этим врагам социализма, саботажников, растратчиков и... Тогда реквизировали соседние дома, затянули колючей проволокой окна, поставили под ними часовых, зачастую из тех же заключённых, членов партии, разумеется, и это делало улицу сдержанно оживлённой. В конце – небо, потому что улица выходит на бульвар, за которым обрыв. Небо почти всегда прозрачное, чистых бледных тонов, такое ясное, что кажется совсем бездонным и заставляет желать звёзд среди бела дня. Напротив тюрьмы зимой и летом тётки без возраста продают стаканам семечки. Люди приходят поговорить с заключёнными с тротуара... («Не так громко, – просит часовой, – и не так близко, гражданки! Здесь не клуб». – «Да нет, – бросает мимоходом Елькин, – клуб Народной Воли...») Часовой, озадаченный странными словами, взирает на него беспокойным взглядом: личность вроде солидная, по одежде ничего не скажешь... Надо поостеречься. «Будет, поговорили, гражданка, что я вам говорю...») Елькин был рус, хорошо сложен, летом ходил без головного убора с вьющейся на ветру шевелюрой, в блузе, расстёгнутой у ворота, в матерчатых туфлях, которые стачал сам из обрезков старой попоны; с первых холодов он уже не снимал кавалерийской, естественно, без знаков различия, шинели, оставшейся с Дальневосточного похода. Шагал он широко, наклонив голову, будто всегда против ветра, а когда кого-нибудь встречал, тотчас пускался подшучивать с самым серьёзным видом. Дружески спрашивал счетовода молочного объединения:

– Ну как, тот маленький перерасход на шесть тысяч рублей ещё не раскопали?

И жертва хлопала глазами, пронзённая мыслью, что в самом деле... потом, спохватившись, отвечала:

– Отыявленный шутник, вот вы кто, Дмитрий Димитрич... У меня-то всё нормально, всё в порядке, полно вам. Не то, что в кооперативе кустарей...

К празднику перед порталом упразднённой церкви установили пятиметровое панно, где вождь, в три раза выше чем в жизни, в фуражке и военной шинели казался поспешно сходящим в площадную грязь.

– Лафа! – изрёк Елькин. – Дождались-таки, он смывается – и ему хорошо, и нам...

Высказывание, о котором в органы сообщила Мария Измаиловна, библиотекарьша, член партии с 1919 года, исключённая в 1930-м по подозрению в симпатиях ко всем оппозициям, которые она выдавала поочередно каждый год в течение восьми лет, – высказывание обязывало уполномоченного госбезопасности, его заместителя и начальника особого отдела принимать меры. Арестовать Елькина? Московская памятка рекомендовала в отношении его «наибольшую осторожность». Да, но что значит на деле – *осторожность*?

– Хм, снять панно? – предложил зам. Это могло быть неправильно понято.

– Кто его нарисовал? – спросил уполномоченный.

– Мошков... – смутившись, ответил особист.

– Мошков!

Все трое досадливо переглянулись. Мошков, карикатурист таганрогской «Красной звезды», отбывал под их присмотром трёхлетний срок за то, что «пытался своими рисунками дискредитировать вождей партии и государства». Особист, добавив, что Мошков исполнил свой шедевр по рисунку (известному всем), опубликованному в центральном партийном органе, начал кусать губы.

– Арестовать Мошкова, – рубанул уполномоченный, – пусть отведают наших подвалов, художник.

– Да, – вставил особист, – дал я маху...

У толстого, красномордого особиста, китель которого готов был лопнуть на полном теле, сох во рту язык. И откуда такая напасть! Живо по стакану пятидесятиградусной для равновесия. Слюноотделение ему вернул сердечный тон уполномоченного:

– За бдительность, ну-ка, товарищ Анисим!

– Так точно, командир!

Мошков не знал, за что с ноября по февраль его держали в одном из подвалов госбезопасности, откуда он вышел разбитый ревматизмом, а это означало, что ему продлили наказание ещё на несколько лет, а это означало, что Нюра больше не ждала его, ибо это не жизнь – вот что это означало...

Елькина всё-таки вызвали в особый отдел госбезопасности, и было это в сильный мороз. Он вошёл, поприветствовав лишь кивком головы, изобразил скачок к печке, вытянул над нею ладони, поежился, напустил на себя вызывающий вид.

– Чёрт бы вас побрал, – сказал он жизнерадостно, – вместе с вашими тридцатью градусами холода. Таким маленьким атеистам, как вы, надо здорово молиться своему маленькому богу, чтобы оппозиция не пришла вдруг к власти, тогда ведь я покажу вам настоящий мороз...

Он по опыту знал, что подобные угрозы пока сохраняли некоторую действенность, правда, с годами убывающую. Плохо улавливая что к чему, ошарашенный особист пробормотал:

– Я что-то не оценил вашей шутки, гражданин Елькин. Весёлым, одновременно задиристым и обезоруживающим тоном Елькин воскликнул:

– А я, думаете, я оценил ваши, глубокоуважаемый гражданин?

За выкриком последовало невразумительное бормотание. Особисту послышалось что-то вроде: «Шайка чертей, покрытых перьями...» Но такого быть не могло, это было бы невероятной наглостью, пришлось бы в тот же вечер ставить вопрос об аресте; но вот, наконец, он учтиво улыбнулся. Такое к делу не пришьёшь. Темперамент, чего там. И потом, всё-таки бывший председатель Киевской чека.

Жил Елькин в самом конце бульвара. Старые брёвна в его комнате были голыми, окно смотрело в простор: равнина, полоска чёрной воды в излучине, небо. Цвет старого дерева делал сумрачной комнату с низким потолком, и небо врвалось в неё резко, печально. В одиночестве Елькин сразу старел, хмурил брови, и прежде чем сесть или лечь, ходил из угла в угол, заложив руки за спину. Пустота, Камень. Пространство. Тяжесть. Понимаете ли вы эти слова? В тягостной тишине Елькин говорил сам с собой. Нет ничего – и весит это тонны. Проведите отсюда прямую линию вперёд: ничего на тысячу километров, ничего на две тысячи, на три тысячи, на четыре – ничего до самого полюса; надо выйти по ту сторону земного шара, за Лабрадор, чтобы отыскать хоть каких-нибудь дураков (которые вполне счастливы благодаря рациональному возделыванию зерновых, но в данный момент страдают от падения мировых цен...) А здешние... Его губы скривило отвращение. Пока эти затерянные городки не сотрут с лица земли или не швырнут им от сытых щедрот электричество, газеты, самолёты, автомобили, они будут набиты двуногими, а не людьми.

Он встал перед лишённым занавесок окном, за которым слабо розовело весеннее небо. А завтра? Необоримый натиск ста сорока миллионов крестьян можете себе представить? Если не шевельнётся Запад, это половодье через пять, десять, пятнадцать лет захлестнет всё. Социализм – крестьянину плевать на него. Он знает о нём только по ложному и бесчеловечному лику антисоциализма. От нас и пепла не останется. Смешно подумать.

Газета была ему вместо скатерти. Он разложил на ней чёрный хлеб, солёные огурцы, масло. С керосинкой он управлялся на подоконнике, чтобы не терять из виду пространство. Заурчал жестяной чайник. Мимо шли коровы, девчонка бегала от одной к другой, торопя их ленивую поступь. И тут к спуску вышли три молодых женщины с коромыслами на плечах, ритмично покачивая в такт шагам старыми деревянными бадейками. Елькин слышал их громкие голоса. Последняя словно застыла на миг, выходя на тропинку: тёмный силуэт, высокий и как бы раскаленный на фоне пустого неба – Галя. Взгляд Елькина был таким пристальным, что она едва не обернулась... Он ждал этого движения, звал её. Но коромысло помешало ей обернуться. Ей было невдомек, почему на крутом спуске её осанка сделалась такой прямой и гордой, почему вечерний горизонт с фиолетовой линией леса стал таким манящим и смутно защемило сердце.

Елькин похолодел. Единственное на земле существо, от которого он ждёт жеста, даже не жеста – взгляда, бессознательно отказывает в этом. И сразу пустота. Кажется напрасной твоя могучая сила. В ней что-то иссякло, ибо в глубине всякой силы – тоска. Елькин пил свой безвкусный чай, расхаживая из угла в угол с краюхой в кулаке. Временами он останавливался у стола и перебирал газетные вырезки с пометками красным и синим: «Урожайность пахотных земель на гектар»... «Канада»... «Австрия»... «Дания»... «Украина»... «Черноземье»... «Западная Сибирь».

Годы. В цифрах и процентах...

Вся сущность в этом.

На другом берегу реки в каменных впадинах ещё стоял снег, кусты зеленели с таким неопределённо светлым оттенком, будто солнце просвечивало молодые побеги.

– Говорят тебе, жёлтые, а не зелёные, – констатировал Авелий, – но если ты привык думать, что кусты должны быть зелёные, ты их никогда не увидишь такими, как они есть... Если бы

ты занимался живописью, у тебя в глазах был бы замечательный правый уклон... – Говорилось это для Родиона, с которым они бродили по голым камням среди голых деревьев между небом и водой.

– Бойся своих глаз, – ответил Родион, – они не думают.

Порой Родион выражался интеллигентно, сам того не сознавая. Авелий, мингрельский грузин с чётко прорисованными чертами побледневшего на севере лица, обладал молодым модулированным голосом, который звучал чисто.

– Глазам, – сказал он весело, – глазам не надо думать, они воспринимают и понимают без этого... И я, брат, не люблю думать, люблю смотреть и трогать. Вот свежесть, я её вдыхаю и не хочу ничего больше... – Он с шумом втянул носом воздух, улыбаясь всему и вытягивая шею. Родион смотрел на него со стороны, опустил свой тяжёлый лоб, с нерешительной печальной, упрямой в глубь зрачков усмешкой. Прозрачно-зелёные глаза освещали некрасивое лицо Родиона:

– Дыши спокойно, товарищ, сути вещей тебя это не научит...

Под шапкой из серого волка он носил мучительные вопросы. И рад бы был найти ответы в книгах, но не читалось: сумбур в мозгах туманил печатные строчки, делая их невразумительными и бесполезными. Правда, одно он видел ясно, и ясность пришла в спорах на берегу с Елькиным, что государственный капитализм – «это, старина, нечто вроде огромного танка, который заслонил горизонт и вот-вот всё раздавит...» Авелий, комсомолец, студент индустриального факультета из Баку, был осуждён за то, что оспаривал лекцию по истории партии о первых разногласиях между большевиками и меньшевиками в 1904 году. Пометка в деле: «Коварными вопросами стремился дискредитировать вождей партии среди студентов...» Шофёр Пензенского велозавода, Родион был осуждён за то, что оспаривал расценки. Пометка в деле: «Злостный агитатор, опасный троцкистский демагог, умеет заставить массы слушать себя...» Но для этого ему пришлось допоздна бессонно ворочать в мозгу цифры и мысли, оказавшиеся в управлении более трудными, чем самый тяжёлый грузовик. Зато на следующий день, на партсобрании, он извлёк из кармана тужурки обрывок газеты с набросанным карандашом на полях уравнениями. «Вот, товарищи, уравнение жизни рабочего нашего завода: я обозначил через Ч – рабочее время, З – зарплату, К – квартплату и утверждаю, что...» Сначала его слушали снисходительно, потом – со скукой, но мысль его пробила брешь в людском оцепенении, голос воспламенился, иксы превратились вдруг в хлеб и мясо, в рубли и копейки, а на обтянутой красным ситцем трибуне под тёмным и тщедушным бюстиком Ленина все разглядели упрямого, переминающегося с ноги на ногу паренька, который, втянув голову в плечи, доказывал алгеброй по Марксу, по Ленину, по «Правде» прежних времен, по шести пунктам самого Сталина, что «рабочий нашего завода голодает, дорогие товарищи, и это проблема проблем, в этом вся суть жизни. Гегель сказал... – Он запнулся, не находя мысли, помаячившей ему в веренице слов из брошюры о Гегеле. – Гегель сказал: рабочий нашего завода не может жить на такую зарплату, вот...» Лицо его сияло от удовольствия, пока активисты, сменяя на трибуне друг друга по мановению секретаря ячейки, клеймили его как демагога, карьериста, эгоиста, который думает только о том, как бы набить брюхо, троцкиста и паникера. Наполненный истиной, его мозг гудел, он не понял ни слова в доводах, которыми его сокрушали. Только в конце собрания он поднялся, чтобы громко, перекрикивая шум подвигаемых скамеек – и все его услышали – заявить, широко улыбаясь: «Мелите, емели! Вы прекрасно знаете, что я прав».

На улице, отгородившейся от уныния вечной грязи палисадниками, которые почти каждую ночь ломали просто так, чтобы согреться, старый рабочий положил ему руку на плечо и дружеским тоном сказал:

– Ты, товарищ, пропал как пить дать, но ты прав. Ты молоток!

– Правда? – живо откликнулся Родион.

В сущности, Родион одновременно и пропал и нашёлся. Повидал подвалы госбезопасности, новых людей, северные небеса. После первой четвертинки водки проблемы прояснились, он начинал ощущать свою интеллигентность. Потом всё туманилось, подступало желание поколоть дров сплеча, как ещё недавно дома, или обнимать берёзки, ломая, вырывая их с корнем, чтобы окончательно почувствовать себя сильным и могучим. Потом от него слышали либо: «Я – скотина», либо: «Товарищ Горький прав, человек – это звучит гордо...» В такие моменты падений, крушений, взлётов и мутной маеты Родион особенно боялся встретить товарища Елькина.

Они добрались на сходку в каменной прогалине под утесом аспидного цвета на берегу Чёрной. Место было удачным: можно было просматривать подступы, не выдавая себя. Между скалой и деревьями показалась голова с развевающейся белой гривой.

– Привет, Рыжик! – крикнул Авелий. И мужчина с бритым морщинистым лицом слегка повысил в ответ голос:

– Весна, товарищи, это чудесно! – Он беседовал с Елькиным, который в фуражке набекрень с комфортом расположился на камне.

– Выдумка доиндустриальных эпох, – сказал Елькин с той серьёзностью, с которой он любил отпускать свои несообразности. – Очевидно, ты будешь это объяснять натуральным хозяйством?

– На Енисее, – продолжал Рыжик, – она бывала прекраснее здешней. Представляешь, земля будто светится изнутри: едва сойдут снега, спадёт вода, пробьётся трава, как каждая былинка, каждый ручеёк наполняются светом – идёшь как по сиянию. Цветы выплёскиваются из земли в одну ночь. У тамошних цветов такие холодные и тонкие оттенки, что сравнить их можно только со звёздами. Утром встанешь, выйдешь в луга, и прямо перед тобой такое приволье – ничего кроме горизонта и такого же горизонта за этим горизонтом. Ты один, один, как... эх! Я в самом деле не вижу как кто, как что, слушай, как камень на дне колодца – и не знаешь, что с тобой такое, тебе хочется петь, чувствуешь, что на земле праздник, что-то невероятное, и может случиться всё, что угодно. Стоит только тебе обернуться, и вот оно перед тобой откуда ни возьмись – великое счастье... Какое – тебе не ведомо, но веришь, что нет ничего невозможного. И ты оборачиваешься, и видишь – птицы прилетели, они тучами, мощно махая крылами, идут по небу, и восходит свет, искрятся камни, все в цветах, степь поёт без слов... Ничего с тобой, конечно, не происходит, но всякое возможно.

– Упустил ты свою судьбу, Рыжик, – говорит Елькин. – Тебе бы ямбы восьмистопные творить по три рубля строчка. Чего ты пошёл в революцию? Был бы сегодня членом правления подсекции деревенских поэтов Союза советских писателей. Затопил бы журналы организованной, идеологически выдержанной и полезной лирикой. Пушкин позеленел бы от зависти на своём постаменте.

– Да пошёл ты. Я бы не узнал чудных цветов Севера. И, видишь ли, ни за что на свете я не хотел бы вычеркнуть это из жизни... Момент вскрытия реки ребяташки ходили наблюдать на горку: там всегда сидела ватага шустрой детворы, не выпускавшая реку из вида. Вечером они докладывали новости дня: появилась первая трещина, на поверхности образовалась лужа; наметилась вторая трещина, слышно хруст... Они сравнивали сроки прошлых лет, отмечали прилёт птиц... Когда лёд наконец трогался, когда открывались первые живые воды, ребяташки со всех ног сбегали к домам, их переполнял восторженный вопль, они были гонцами радости, распахивались ворота, отбрасывалось всё: «Началось!..» Брели гармошки, и вся молодежь, парни, девки, устремлялась на горку встречать настоящую весну... Туда ходили и мы с маленьким Николкиным (ты знал маленького Николкина из Донецка? Он выдержал в изоляторе четыре года и умер в Перми) – Николкиным, который говаривал:

«Только бы дожить и увидеть, как взорвут социалистическую тюрьму, хоть одну, большего я не прошу от перманентной революции...»

Из-за скал показалась женская фигура, которую делали неуклюжей старые фетровые боты и вытертая суконная кацавейка с меховым воротником. Привет, привет. Варвара пришла последней, отпускала в рыбацком кооперативе по четыреста граммов чёрного хлеба на рабочую карточку, соль, махорку, спички – и всё; с обещанным сахаром тянут два месяца, талоны на него явно пропадут, а насчёт мыла, ящик которого обещают из области уже семь недель, пока надеемся. Серый мех её старой волчьей шапки мешался с волосами. И всё-таки лицо её хранило печать почти неуловимой и как бы излишней грации.

Елькин изрёк:

– Доклад товарища Рыжика о праздновании северной весны одобряется без прений единодушно при одном голосе против – моём. У меня возражения теоретического порядка. Перехожу к повестке дня. Доклад о Верхнеуральском изоляторе, аграрный вопрос, единый фронт в Германии. Вам слово, Варвара.

– Сектор левых коммунистов Верхнеуральского централа с 45 увеличился до 96, фактический прирост более чем на 100 % связан с арестами, произведёнными в крупных центрах накануне XVI годовщины Октябрьской революции. Зато сектор неорганизованных коммунистов, преданных, но утративших доверие, которые никак не поймут, что с ними произошло, и продолжают подличать, увеличился за тот же период с 8 до 160, то есть фактический прирост в 20 раз, что показывает нам восходящую кривую репрессий против неустойчивых элементов правящей бюрократии. Эти две цифры, первая – индекс сопротивления сознательного пролетарского авангарда бонапартистской диктатуре, а вторая – укореняющейся ликвидации партии, доказывают при сопоставлении...

– Что они доказывают при сопоставлении, эти цифры, кроме уже известного каждому? Только этим знанием и живём, из-за, него оказались здесь, через него нашли такой способ медленно, околевать. Революция обернулась ложным, уже не своим лицом. Она опровергает самоё себя, отрицает себя, громит, истребляет нас. Ты видишь это, но можешь ли в такое поверить? Мы верили в неизбежность нашей победы. Где ошибка? Всё, чему мы были преданны, не более чем гнусная видимость. Требую взвешивать все за и против, обдумывать каждое слово. Берегитесь, как бы не отречься совсем от диктатуры пролетариата, раз она больна, потеряла голову, творит беззакония...

– Не верь самому себе, товарищ. Иллюзии твои вполне объяснимы, но ты упиваешься словами. Кто мы: «бешеные», «равные» или гонимые Прериала?

– Брось, старина, свои исторические аналогии: ничего общего с марксизмом они не имеют. Ещё не ясно, кто сегодня ленинский «тот, кто восторжествует».

– По этому поводу, товарищи, прошу на три секунды прервать заседание для последнего откровения Карла (мир его душе революционера: тело его гниет потихоньку в ватерклозетах генерального секретариата). «Тот, кто восторжествует», говорит Карл, давно известен. Равно как и тот, «кто станет могильщиком». Но «когда придёт его черед?» – вот что неизвестно...

– Левокоммунистический сектор тюрьмы установил братские контакты с анархистами, которые солидаризировались с ним во время второй прошлогодней голодовки и первой в этом году. Июньская голодовка провалилась из-за ошибки в расчётах: зимой свирепствовала цинга, надо было бы учесть и ослабление организма после сильных морозов. На седьмой день многие товарищи были очень плохи. Оргкомитет предложил в персональном порядке сворачивать голодовку, но ночью был взят врасплох и брошен в карцер...

– Взят? Почему он не сопротивлялся?

– Какое там, их выдёргивали поодиночке для переговоров в канцелярию около двух часов утра, перехватывали в коридоре и утаскивали, заткнув рты и скрутив... Второй комитет, созданный на следующий день, не смог включиться в дело, поскольку его держали в здании на отшибе и не спускали глаз. В шесть часов вечера комендант тюрьмы получил телеграмму с приказом прибегнуть к принудительному питанию: старик Киквадзе сопротивлялся, для него велели доставить смирительную рубашку из сумасшедшего дома, зондом для кормления ему разорвали губы, в конце концов он упал в обморок, так что накормить его не смогли. Другие больные решили отбиваться. Тогда из Москвы приехал какой-то тип от Особой коллегии, который велел вызвать представителей. «Особая коллегия ГПУ, – как он сказал, – в данный момент отменила продление в административном порядке сроков лицам, подлежащим освобождению. Таким образом, вы получаете удовлетворение, ваша голодовка становится бессмысленной». Друзья отвечают ему: «Сегодня вы это отменили, потому что боитесь нашей смерти. Давно ясно, что нельзя верить ни одному вашему слову. Какие гарантии на будущее вы нам дадите?» Перед ними был порядочный мерзавец с тремя орденами Красного Знамени, заработанными в канцеляриях концлагерей. Напустив важный вид, он изрёк: «Диктатура пролетариата сохраняет свободу рук». «Верно, – сказал Гриша, впадая в тихое ожесточение, – а вот доказательство!» И дал ему оплеуху, но оступился (девятый день голодовки – это не самый лучший день для отвешивания пощечин) и, к счастью, смазал, иначе это могло стоить нам нового конфликта... В связи с тяжёлым состоянием четыре камеры объявили о немедленном прекращении голодовки. Крайне левые выпустили бюллетень, осуждающий эту «позорную капитуляцию» как следствие «центристских колебаний...» Левые решили сформировать организационную комиссию для руководства всеобщим движением за продолжение любой ценой до конца. Стратегия голодовок выявила необходимость одновременной акции во всех тюрьмах, но понадобится по меньшей мере год, чтобы подготовить её, если удастся. Один молодой механик из Твери, бывший сторонник рабочей оппозиции, примыкавший к троцкизму, затем к группе децистов – я уже не помню его имени, – отказался признать принятое решение и продолжал голодовку в одиночку ещё несколько дней, потом пытался вскрыть себе вены... Что с ним случилось? Мне об этом ничего не известно...

В сущности, каждый раз одно и то же, из года в год: меняются только даты и имена. Ты помнишь, Рыжик, Тобольский централ? А ты, Елькин, Уфимскую тюрьму? «Славные были времена. Я пообещал начальнику охраны добиться его назначения директором санатория в Крыму: он пропускал мою почту и носил мне водку. Вот кого история оставила в дураках...»

От речей на лице Варвары выступил румянец. Она сбрасывает на камень шапку, расстегивает свою неуклюжую кацавейку, монгольское лицо с короткими гладкими волосами и стройная шея делают её почти юной. Рыжик смотрит на её профиль. Женщина. Суровая. Неприступная. Измотанная. Соблазнительная. Уйти вместе, вместе... Тут он неуловимо пожимает плечами: будет просто поразительно, если её не упрячут куда следует до конца года.

Уверенно, без многословия говорит она, бывшая слушательница Свердловского коммунистического университета, бывший секретарь фабричной ячейки на «Трёхгорке», бывший руководитель политечебы МТС Северного Кавказа, бывший уполномоченный по организации колхозов в Новочеркасской области, бывший редактор «Ленинского голоса» рабочей группы сектора ленинистов в одной из централок...

Слушают её, думая каждый о своём. Без конца и шума катятся чистые и студёные воды Чёрной среди лесистых Уральских гор, с тех пор как континент приобрёл свою современную форму. Авелий следит, как в голубизне над берёзами медлительно плывут редкие хлопья облаков. Авелий улыбается им. Есть облака, небо, он, и больше между миром и ним – ничего, даже тюрем нет. Истина, пролетарский долг – всё это столь же очевидно, как облака. Родион носком сапога гоняет камешек, уставившись на него, будто весь свет сошёлся клином на этом сером комочке. А то вскидывает на Варвару глаза, чтобы лучше уловить

смысл её слов. Для чего столько говорить? Контрреволюция ломит. Пора создавать новую партию для новой борьбы, которая будет долгой, тяжкой, кровавой, и все мы в ней погибнем – это Родион видел так ясно, что даже лицо скривилось. Придётся бежать, фабриковать фальшивые паспорта, создавать подпольные типографии – начинать сначала... От мыслей у Родиона беззвучно шевелятся губы, но он не осмеливается подняться и произнести решительные слова, которые следовало бы крикнуть... Уверенность в нём, как комета в ночи, возникает внезапно, восходит в зенит и исчезает. Чёткие мгновением раньше контуры идеи заволакиваются дымкой, расплываются – где они? Эх! сколько проблем... Родион ощущает лишь свою никчемность, упадок сил, сомнение в себе и во всём. Елькин и Рыжик затевают спор об едином фронте в Германии. Тельман, предвкушая взятие власти, отвергает всякий компромисс с лидерами социал-демократов, социал-шовинистов, социал-патриотов, социал-предателей, социал-фашистов, которые убили наших Розу Люксембург и Либкнехта: «а единый фронт мы создадим с рабочими социал-демократами, возмущёнными гнусностью собственных лидеров. Мы победим. Мы устроим из нацистского плебисцита против социал-фашистского правительства герра Отто Брауна красный плебисцит! Голоса нацистов будут затоплены пролетарскими голосами». Рыжик говорит:

– Читал, это пахнет поражением. Аппаратчики опустили настолько, что верят, может, на треть или четверть в то, о чём говорят. Вот увидишь, завтра им велят говорить прямо противоположное, да будет слишком поздно. Увидишь, они будут ратовать за народные правительства, широкие фронты сверху и снизу с Шейдеманом, с Носке, а если потребуется, и с худшими канальями, которые сокрушили немецкую республику, вот увидишь: но это будет, когда Гитлер запрёт и тех и других в одни концлагеря... – Насчёт выводов Рыжик колеблется. – Протянуть руку Зеверингу – однако! Гржезинскому, палачу с Александерплац? Как бы нам не остаться в дураках в такой игре, где можно проиграть всё! Не лучше ли быть битыми, не пачкаясь, не теряя чести?

– Скажи-ка, ты веришь, что руки сегодняшнего III Интернационала чисты от рабочей крови? Между нами, друг мой, я считаю, что Нейман, вернувшийся из Кантона, где обрёл на истребление тысячи кули, Мануильский, представитель Центрального Комитета, который расстрелял Якова Блюмкина и потихоньку изводит нас, Коларов или Димитров, ответственные за Софийскую бойню, прекрасно могут пожать руку Носке и полицей-президентам, привыкшим дубасить безработных. Скажешь, от их рукопожатий рабочему классу ни жарко ни холодно – а вдруг ошибаешься? Ведь, несмотря ни на что, рабочий класс сохранил в них веру! Ведь он не может, не умеет обойтись без них!

Елькин продолжает:

– Тезисы Старика справедливы – нет иного шанса на спасение, кроме единого фронта с социал-демократией, с реформистскими профсоюзами. Глупо претендовать на откол массы от лидеров, пока старые партии сохраняют пролетарский дух. И пока сами по себе мы едва ли стоим большего, чем то, что разоблачаем!.. Ещё есть кретины, по мнению которых пусть Гитлер берёт власть, он быстро выдохнется, обанкротится, вызовет всеобщее недовольство и откроет путь нам... И в другом прав Старик: ещё до взятия власти надо стоять до конца. После будет слишком поздно. Взяв власть, Гитлер её не выпустит, способы известны. А нам долго быть в загоне: рикошетом это стабилизировало бы бюрократическую реакцию в СССР лет так на десять...

Между этими диктатурами есть странное сходство. Силу Гитлера создал Сталин, отлучая от коммунизма средние классы кошмаром ускоренной коллективизации, голодом, террором по отношению к специалистам. Гитлер, приводя в отчаянье социал-демократов Европы, усилил Сталина... Эти палачи созданы друг для друга. Брат мой – враг мой. Один демократию в Германии хоронит недоношенную, дочь недоношенной революции, другой в России хоронит победоносную революцию, рождённую от слишком слабого пролетариата и брошенную

остальным миром на произвол судьбы; оба ведут тех, кому служат: буржуазию в Германии, бюрократию у нас – к катастрофе...

– Да, – живо отзывается Родион, сияя радостью понимания. Варвара предлагает составить тезисы, обсудить перспективы...

– Да, – опять поддакивает Родион, – нельзя жить без перспектив.

Отчего хохочет Елькин? Родион смущается. Авелий стоит и кидает в Чёрную камни, они описывают в воздухе на бледнеющем, окрашенном шафранно-розовом фоне крутые траектории, уменьшаются до чёрной точки и, падая, разбрызгивают венчики пены.

– Хочу петь, – говорит Авелий. Строфы из «Витязя в тигровой шкуре» гулко звучат в его груди, ведь здешние вечера так похожи на те, в двух тысячах девятистах километрах отсюда, на берегу Риона, под сенью кутаисских лесов, в сердце грузинских гор.

– Я тоже, – вполголоса откликается Варвара, которая не поёт никогда.

Рыжик вглядывается в эти четыре лица с почти что недоброжелательным вниманием. Он препарировал эти взгляды и утопал в таком самоанализе, что его морщины застывали как какая-то маска. Старый каменный миляга, ошетилившийся белыми волосами, которые, как вымпел, оживлял на его лбу ветерок. Когда растались, Родион ушёл один по самой крутой тропке, Авелий с Варварой пошли берегом до лодок, а Рыжик, шагая рядом с Елькиным, вдруг тронул его за плечо:

– Слышь, брат, беспокойно мне. Нас пятеро – и ни одного стукача! Думаешь, такое возможно, а? Что же ещё готовят нам эти подонки в своих тридцати шести тысячах папок? Ведь не без умысла же свели нас так мило на берегу Чёрной. Не для того же только, чтобы изловчиться и сбросить нас в омут с камнем на шее. Что ты об этом скажешь?

Елькин присвистнул:

– Давным-давно говорю себе то же самое.

– И что?

– Все кажутся надёжными.

– Самых надёжных колют, – говорит Рыжик, – окунут в грязную воду, скрутят и выкрутят, и от этого кое-кто становится совершенной тряпкой...

– Это точно.

Пейзаж мерк, лиловели камни, и, карабкаясь по склону, они могли видеть под ногами всю излучину Чёрной, выделяющуюся на фоне неба и чернил в темнеющем просторе...

– Это точно, – повторил Елькин, – но такого не случится всё-таки ни с тобой, ни со мной.

– Тогда с кем же? Кто пьёт? – спросил Рыжик. – Все, кроме разве что Варвары. И ты первый. – Рыжик пригладил волосы: – Чёрт нас побери!

– Так заходи, – промолвил Елькин, – у меня стоит полбутылки.

Ночь льнула к растрескавшимся и подклеенным бумагой стёклам, в подклети, прямо под ними, баюкала ребёнка женщина. Голос её изливался как жалоба. Елькин зажёл керосиновую лампу, которая светила не ярче лампадки. Стекло у неё сверху было щербатым и чёрным от копоти. Елькин наполнил водкой два больших стакана. Немного помолчали, насупленные, посуровевшие, постаревшие, и лица их являли друг другу безысходную печаль. Потом Елькин издал сдержанный смешок.

– Погоди, – сказал он. В куче книг и газет, занимавшей угол комнаты рядом с мешком картошки, он нащупал томик в картонном переплёте: – Глянь!

У Рыжика вспыхнуло удивлённое лицо.

– Боже мой! – Имя автора было тщательно соскоблено с обложки, сиявшей красной звездой.

– Это, старина, я купил на рынке в Тюмени прошлый год на пересылке. Я следовал в сопровождении бравого малого из спецбатальона и наткнулся на старуху, которая продавала это среди всякого хлама. Взял за рубль, она и не знала, за что. «Эта бумаженция вряд ли сгодится на закрутку», – сказал я ей.

Улыбаясь, они вместе полистали начало. Прямо в лицо им глянул портрет Льва Давыдовича; лоб, перечёркнутый энергичной мыслью, пенсне и отблеск неотвратимой молнии в глазах.

– Похоже, – сказал Рыжик.

Тут они забыли про водку. Рыжик нахмурил брови:

– Главное, пойми, чтобы его не убили!

Елькин сначала согласно кивнул, потом, расслабляясь, бросил победным тоном:

– А я уверен, что его не убьют! – и единым духом осушил свой стакан водки. – Огня бы выпить. Да здравствует огонь!

Комната сделалась необъятной как ночь. Язычок пламени под закопчённым стеклом был ослепительным.

Рыжик наугад раскрыл книгу.

– Послушай! – сказал он.

Но сейчас мало значит ритм этой давней речи, чёткие вспышки мысли, привязанной к текущему моменту, чтобы воспарить над ним, и непрестанно взывающей к истории, чтобы вершить её. Жив старый текст, потому что в нём, в нём выражена верность, необходимость. Надо, чтобы кто-то не предавал. Ослабеть, отречься, поступить вопреки себе, предать могут многие, но не всё потеряно, пока кто-то остаётся не согнутым. Всё спасено, если это самый великий. Который никогда не сдавался и никогда не сдаётся, несмотря на интриги, страх, обожание, оскорбления и даже усталость. Ничто не может отделить его от революции, победоносной или побеждённой, овееянной легендами и красными знамёнами, наполняющей под звуки похоронных маршей братские могилы своими павшими, или хранимой в сердцах немногих по затерянным в снегах тюрьмам. И пусть потом он ошибается, пусть будет неуступчив и властен, это почти не в счёт. Главное – быть верным.

В тёмных сенях одна за другой гулко хлопнули двери.

– Спокойно, – сказал Елькин, придвинувшись к самому лицу Рыжика – и Рыжик видел его расширенные от радости зрачки. – Это Галя, существо чистое, как полюшко, как твои северные цветы, как... Эх! – Он тряхнул головой.

– Да-да, – бормотал Рыжик, моргая глазами. Галя нерешительно остановилась в полутьме возле двери, высокая и стройная, повязанная красной косынкой, конец которой вместе с прядью волос свисал над щекой – точь-в-точь как тёмный дикий мак.

– Добрый вечер, – выговорила она с милым смущением. Рыжик что-то едва обозначил в ответ, складки его лица окаменели, он вперил взгляд в раскрытую под скудным светом книгу, книгу, где могучие слова тысяча девятьсот восемнадцатого чеканили строевой шаг: «Товарищи красноармейцы, командиры и комиссары! В час грозной опасности, накануне решающей победы, партия...» Отвали, красавица. В груди его вздымался пламень воспоминаний и алкоголя. 6-я дивизия, 7-дивизия, 13-армия, Туркестан. Ради этого стоило жить.

Елькин, взяв Галю за плечи, мягко направил её к сеним, потом через сумрак к выходу. Она ощутила в его дыхании запах водки, мягкое опьянение в тяжести рук, которые обнимали её с нежной силой. В её полуулыбке угадывалось огорчение тем, что он выпил. В низком дверном проёме, когда она опустилась на ступеньку ниже его и лицо её осветилось рассеянным отсветом безлунного неба, он склонился к ней и ласково взял её виски в ладони.

– Ступай спать, Галя, Галочка, Галиночка, милая, милая... Нынче вечером я не один, у меня чудные гости, тайные, они из такого далёка, что я тебе и сказать об этом не могу...

– Какие ещё гости? – еле слышно спросила Галя, тронутая тревогой за сердце.

– О, тебе нечего бояться, – ответил он. – Это Идеи...

Они наспех поцеловались: Галя почувствовала сухие и горячие губы мужчины, а у него рот женщины оставил ощущение вялости и свежести. В четырёх шагах от калитки Галя обернулась, подняв руку, и белизна этой руки в ночи была прекрасна:

– Привет твоим Идеям!

Улыбалась ли она? Надо было бы её позвать, удержать, оставить, оставить! Что же этому помешало, какая тяжесть в ногах и внутри? Елькин почувствовал щемящую тоску. «Как на этой земле одиноко. Я пьян». Большими тяжёлыми шагами, заставлявшими скрипеть доски, он вошёл в комнату. Рыжик не шевельнулся, он стоял перед открытой книгой, и лицо его, освещённое снизу, было бесцветным лицом человека, который скоро умрет. Бутылка была пуста – холера!

– Читай ещё, – попросил Елькин.

...Галя, его утраченная радость, выйдя за калитку, обогнула дом. Она и в потёмках шла скоро, уверенной походкой, с тем совершенным знанием малейших неровностей почвы, которое было в самом её существе. Слитая с, этой землёй, скалами, водами, небесами, которые несли её, защищая от всего, даже от самой себя, она так и шла, проворно и прямо, не имея нужды думать словами. Надо было, так надо было вновь увидеть его, Дмитрия. Почти напротив его окна был бугор, там и встала Галя, чуткая и незримая. Подслеповатое елькинское окно одно жило в густой черноте домов и дворов. Жалкая лампа отбрасывала в неё жёлтый свет, скорее, печальный, чем неестественный. Галя пожурела себя за то, что не протерла стекло, и эта мысль была чистой и доброй. Рыжик что-то громко читал, встав над лампой, а книга, должно быть, лежала на столе. У Рыжика над большим голым лбом топорщились белые пряди, на странном, сильном и бледном лице с глазами, скрытыми под седыми бровями, шевелились только губы. Походило на колдовство, и Галю охватил ужас. Хотят предотвратить беду и накликают её. Зови или заклинай – беда тут как тут. А ведь злое, должно быть, колдовство, раз Рыжик так напыжился, подбоченился и будто вырос, приобретя странно властный вид. Как чёрные крылья, простёрлись над ним огромные тени. Елькин ходил туда-сюда и время от времени обходил вокруг чтеца, заложив руки в карманы, склонив или подняв лоб; у него были угловатые плечи готового к бою человека. Осеняя обоих крестом, Галя бестолково подняла руку, но вовремя вспомнила, что бога нет, ведь «молодое поколение, как известно, не верует». Вселенская ночь пустотой обложила этих двух одиноких, бесконечно одиноких людей. «Дмитрий! Митя!» Галя провожала его глазами из конца в конец комнаты, надеясь хотя бы поймать взгляд, но было невероятным, чтобы, ослеплённый своей лампадой, ослеплённый своими идеями, он увидел её. Про себя она с некоторой гордостью звала его «мой». И вот, сам того не желая, он сделался почти «не мой», одинокий при всей своей притягательной силе, усугубляемой колдовством, мрачными крыльями, скудным светом, вселенской ночью. Резко выделяясь во тьме, он встал перед окном прямо против Гали. «Мой, мой», – твердила она в тревоге. Холод стоявшего позади пространства тронул её за плечи, там, где их касался Дмитрий. Она задрожала. «Что со мной? Дмитрий, Митя, не бойся ты этой пустоты, я здесь. Слышишь, для тебя иду стирать выходную свою кофточку». Галя сбежала к Кузнечной, где давно не было ни кузниц, ни

кузнецов, к улочке, притулившейся под осыпью посреди косогора. Она жила там со своими сестрами, их мужьями и детворой в просторной подклети, вырубленной в цельной скале.

Родион трудился с восьми утра в одной из мастерских возле рынка под вывеской «Артель жестянщиков». Он кроил резакон старое железо, которое годы сделали тускло-серым, даже чёрным, поскольку последние листы настоящей жести получали несколько лет назад, ещё до индустриализации; он припаивал к старым бидонам новые донышки, и никто из четырёх сотоварищей не был более силён в искусстве выявлять болезни старых керосинок. Так что скромного достатка женщины города только ему доверяли свои довоенные примусы... Родион любил это дело, как и всякую работу, которую сознательный пролетарий должен любить. Это разделяло его с местными, изрядно отсталыми товарищами, для которых весь смысл состоял в том, чтобы загребать рубли, сбавивая клиентуре столь посредственную работу, что Родиону бывало стыдно за них. Тогда он пускался объяснять им, что «техника есть освобождение человека». «Существуют моторы...» – говорил он с энтузиазмом, не зная в точности, что за моторы, уверенный лишь в том, что они существуют, совершенно чудесные, готовые освободить людей... «Заткнись, – кричал ему какой-нибудь перемазанный сажой чёрт, – затуркали нас твоими моторами, потому и хлеба не стало, что теперь хотят делать только машины... Скоро люди начнут подыхать под моторами, эх ты, обормот. А тебе лучше бы поучиться девок шшупать». Мастерскую сотрясал дикий хохот, повергавший Родиона в смущение. Что верно, то верно, он совсем не умел ни танцевать, ни завлекать, ни добиваться малейшей благосклонности девушек с Ивановской, которые со смехом отбреют солёной частушкой. Те, которых он провожал в сад имени Марата, рассуждая о «коренной перестройке взаимоотношений между полами», считали его грубияном и почти возмутителем спокойствия. Единственная, которая заинтересовалась великой темой, сделала это только затем, чтобы спросить: «Ты образованный, Родион, объясни-ка мне, что такое джаз? Все о нём говорят...» Родион не знал и спросил Рыжика, который знал не больше, потом Елькина, который, напустив на себя самый насмешливый вид, заявил: «Негритянская музыкальная манера, эксплуатируемая буржуазно-упадочными мюзик-холлами», – что нельзя было принимать всерьёз.

Родион знал муку раздумий – мыслить он не прекращал никогда. Пока он лудил кастрюли, его губы шептали: «Неумолимые законы заработной платы...» Мыслей у него было больше, чем слов, он взбалтывал, смешивал, тасовал формулировки и выдержки, никогда не уверенный, Энгельс или Ленин высказал ту или иную мысль; озадаченный какой-то мыслью, он открывал в ней проблески тайного смысла и попадал при этом в ловушки, силясь поймать туман. Проблемы преследовали его, и прежде всего – рабочая. «Без товара – эквивалента реальной зарплате, без совокупной зарплаты, соответствующей фактическому продукту труда за вычетом необходимых отчислений на расширение производства не может быть социализма, – значит...» Тут Родион чувствовал свою способность ухватить истину, но как её увязать с диалектикой истории, с переходным периодом, с диктатурой пролетариата, с вырождением партии, с диктатурой Грузина над доведённым до истощения пролетариатом? Как объяснить через ликвидацию эксплуатации человека человеком закон от 7 августа 1932 года, изданный, чтобы расстреливать оголодавших крестьян, ибо социалистическая и коллективная собственность священна и, стало быть, трудящиеся являются собственниками всего – всего, вплоть до колосков, которые они воруют, чтобы не умереть с голоду, и пуль, которые им посылают в затылок, поскольку они украли свой собственный хлеб? Какая связь между всем этим и Планом ГОЭЛРО, который всё-таки выполняется, ибо Ленин сказал: «Социализм – есть Советская власть плюс электрификация» – и мы имеем электрификацию, Волховстрой, Шатуру, Каширу, ЗАГЭС, Днепрострой, самые мощные в мире турбины, мы имеем власть, даже большая, она остаётся диктатурой пролетариата, но у нас не хватает электрических лампочек в крупных центрах, керосина и свечек в Чёрном, у нас уже нет Советов, у нас нет социализма, ибо... Что такое бюрократия, класс, прослойка, каста,

коррупцированный элемент сознательного пролетарского авангарда, фракция средних классов, невольный инструмент мирового капитализма? Является ли она...

Люди понимающие не сознают, насколько они счастливы и что значит любить жизнь, ничего толком не понимая, пробираясь на ощупь, как полуслепой. И как после этого служить рабочему – делу, как? Родион за тридцать рублей в месяц снимал угол с тюфяком на лежанке у Курочкиных, ютившихся сам-четверо в низкой лачуге под рыбацкими сетями, связками сушёной рыбы и какими-то диковинными штуками, свисавшими с закопчённых балок. Вернувшись вечером, Родион сел в углу и раскрыл центральную газету, где член Политбюро товарищ Каганович трактовал очередные задачи шахтерских ударных бригад. Курочкин всё чинил свои сапоги деревянными шпильками, которые он ловко вгонял дробными ударами молотка в кожаную подошву, вырезанную из старого приводного ремня. Мать стирала в лохани серые пелёнки. Нина ожесточенно трясла колыбель новорождённого, где тихо и безостановочно плакал от непонятого страдания младенец с багровым лбом. Родион подумал о жизни человеческой, о том, что зовется судьбой, но есть ли судьба? Поскольку никакой врач не соглашался делать аборт меньше, чем за сорок рублей, а больница отказалась принять жену кустаря-одиночки, то этот ребёнок родился, несомненно, чтобы поскорее умереть, либо жить, жить вопреки всему, пока не увидит восход зари бесклассового общества, где уже не будет нищеты, но что же там тогда будет, что там будет? Как представить себе вкус жизни без нищеты? Родион подумал, что ребёнок наверняка умрет, так же думала мать и отец думал о том же: «Только бы поскорее, хоть одним несчастным будет меньше», – и Родион бросил свою газету на постель и вышел.

Варвара Платоновна охотно привечала его. Хорошо у неё было: белая скатёрка на ящиках, служивших столом, белое покрывало на ящиках, служивших кроватью, вечером свеча, аккуратно прилепленная на блюдечко, сама Варвара с чистыми руками и загрубелыми пальцами, пускавшая через ноздри дым папирос «Трактор». Она предложила Родиону цветочного чаю со сдобным собственной выпечки печеньем.

– Как вы полагаете, товарищ, – спросил Родион, – есть судьба, или это только слово, и случается всё, что должно случиться? – Это было совсем не то, что ему хотелось сказать, это было как раз противное. – Нет, Варвара Платоновна, погоди...

Он с трудом спохватился, но Варвара не могла разглядеть в его конфузливых словах маленькую пылающую маску новорожденного, плачущего в этот момент от своего непонятого страдания, и не знала, что ему ответить, поэтому он оставил в себе жалость, смешанную с гневом, выпил свой стакан горячего чаю, сказал:

– Спасибо, товарищ, хочу немного поработать у себя.

И пошёл, а куда идти?

Он побрёл на горку, откуда редкие деревенские дома смотрели в голое пространство. Там, укрывшись в выемках скал, разводили костры крестьяне. Женщины качали на коленях грудных детей, русобородые мужики варили что-то в котелках, подвешенных железной проволокой на треноги. Родион жалел грудных детей. Почему грудных, а не матерей? Почему совсем маленьких, а не тех чумазных, сопливых, с озабоченными глазами встречавшихся ему, почему? Вид горизонта, который приближение вечера оттеняло сиреневым, умиротворил его, но он всё твердил – почему, почему? Чтобы миновать пивную, он поднялся на Красноармейскую – печальна эта улица с её покосившимися оградами; вышел за церковь с её проломленным куполом; ещё недавно там был сад, окружённый решёткой, ныне она разделяла первую женскую тюрьму и третий корпус тюрьмы мужской, а затоптанный сад стал всего лишь пустырем, ошетилившимся кустиками и деревцами. Когда в тёплые месяцы там поднималась трава, влюблённые и пьяницы находили свою прелесть в такой запущенности. Родиону хотелось порядка, чётких дисциплинирующих линий. Направо, в глубине площади Ленина, к комитету партии или к госбезопасности – одно и то

же, в сущности, – подъезжали грузовики. Он пожал плечами – но куда идти, скажите? Его некрасивое лицо на мгновение отразилось в зашторенных дверях закрытого ресторана для ответработников, запах макарон с маслом напомнил ему, что он голоден. С противоположного тротуара на него враждебно глядел постовой госбезопасности. «Давай, можешь пялиться на меня, дубина стоеросовая, ты не соображаешь, что делаешь, и, может быть, никогда не поймешь». Постовой издал короткий свисток: в этом месте останавливаться запрещено. Вспугнутый Родион, нахохлившись, пошёл дальше.

Путь ему пересекли отпускники в новенькой форме, послышался девичий смех, парнишка, одетый в большую, доходящую до пят баранью шубу, предложил ему папирос или стакан водки втихаря – «надо только зайти в подъезд напротив». Да, выпить глоток было бы неплохо, но он зарекся и товарищам обещал...

– Пшёл, пшёл ты! – буркнул он.

– Сам ты пшёл, эх, интеллигент! – отбрил парнишка. «Я интеллигент – если бы в самом деле...» В пивной играла гармонь, вертепный гомон перекрывал тяжёлый мужской голос... «Цыганский хор, рыдай, моя гитара, она об этом не забудет никогда...» Кто она? И что такое невозможно забыть? Скажите, есть ли на свете что-нибудь заслуживающее стать незабываемым? Родион вошёл с каким-то головокружением, пошатываясь, прошёл между застольных компаний, его сочли пьяным, буфетчик бесцеремонно взял его за руку и усадил. «Пивка?» Пиво было дрянным и дорогим, завтра Родиону придётся обходиться без еды... Голос певца едва не обращал его в бегство. Поговорить бы с кем? До соседа было рукой подать, но у этого человека было тупое и грубое выражение. «Никакой сознательности, – подумал Родион, – и мужества, и воли к жизни. А что он может? Что мы для него можем? Ничего». Мутные глаза соседа обнаружили его.

– Гражданин, читать умеешь?

– Да...

Сосед разжал кулак, мнявший бумагу, которую он расправил на столе:

– Ладно ли, скажи мне, гражданин?

Он оказался не грубым, а жалким, не тупым, а затурканным. Бумага удостоверяла поставку некоторого количества рыбы областному Рыбтресту.

– Ну вот, говорим о мировых проблемах, – сказал Родион с раздражением. Давешний парнишка дернул его за рукав.

– Бутылочку, – шепнул он, – и почти никаких комиссионных с тебя...

– Давай, – сказал Родион.

Он принял бутылочку под столом, заплатил, нагнулся, чтобы выпить, – выпить, подогретый, просветлённый, умиротворённый, с глухой потребностью поплакать и другой потребностью запеть в унисон с этим тягучим голосом, который был всюду, вокруг него и в нём самом, тряс бубенцами, шаями, кудрями, удивительными, неуловимыми в снежной круговерти руками...

Кажется, он пел. Кто-то грубо вытолкнул его вон, в темноту. Вдалеке прожектора освещали фасад Госбезопасности, постового со свистком. Из окон кино на деревянный тротуар падали жёлтые и красные блики. Никого, Родион поднял голову, простёр руки с растопыренными пальцами – как тяжело и одновременно как легко под этим чистым чёрным небом. Он рухнул в грязь, поднялся, шаткой походкой преодолел полосу резкого света прожекторов, окунулся в слепящий мрак площади...

– Родион!

Этот оклик выдернул его из какого-то вялого небытия. Подхваченный Елькиным под руку, он тащился как марионетка в чужих руках.

Елькин рычал:

– Опять! Совести у тебя нет? Под их окнами? Засранец! Проспись и не пачкай нас. Поди скажи им, что ты с ними, мы в тебе больше не нуждаемся. Завтра ты скажешь им это, слышишь? Не имеешь права нас дискредитировать.

Елькин прислонил бормочущего Родиона к стене церкви.

– Не сердись, Димитрий, товарищ Елькин, – с широкой смущенной улыбкой лепетал Родион. – Я не настолько пьян, как кажется, это всё проблемы... – Кирпичная стена за плечами и вертикальное положение придавали ему уверенность. Елькин зло присвистнул.

– Мы тебя выгоним, если это случится ещё раз. Ты слышишь меня? Мы будем бойкотировать тебя, слышишь меня?

Родион напевал, мотая головой. Он пришёл в себя только в тот момент, когда получил сильный удар в лицо, а затем ещё и ещё удар, но в тот самый момент он осознал всё, под ногами вновь возникла твердь, контуры домов на другом краю площади стали чёткими, и он тихо, утратив рефлекс самозащиты и свесив голову на грудь, с детским смирением сказал:

– Хватит, Елькин. Ты прав.

– Пошли.

Они пошли бок о бок, один держал другого, и Родион на ватных ногах при почти ясной голове выглядел человеком и марионеткой одновременно. Вокруг звёзд мерцали золотые круги, а земля под ногами была то твёрдой как камень, то странно упругой. У Курочкиных теплилась лампадка. Горячий ребёнок забылся, на окованном железом сундуке спал отец, на кровати – мать с дочкой. Шипящее дыхание младенца не заглушалось вздохами, охами, сопеньем этих существ. Родион пробрался в свой угол и ничком упал на тюфяк, уткнув лицо в красную подушку. Разбитая нижняя губа вспухла. Что делать? Где взять хоть немного подлинной ясности? У кого просить ответа? Как стать настоящим человеком?

Когда Родион открыл глаза, пели петухи и дивный свет заливал оконце. Во дворе вставший до зари Курочкин колот толстые пихтовые чурки, которые он вылавливал выше по течению по ночам, рискуя тюрьмой, а может и худшим, ведь эти дрова принадлежали государственному тресту «Северлес». На каждый удар топора земля отзывалась глухой дрожью. Родион представил себе коренастую мужскую статью в свежей утренней ясности. Направляемое его рукой стремительное синеватое лезвие описывало короткую дугу – чурка раскрывалась, и прожилки её орошались капельками смолы, похожей на сокровенную росу. Родион уже не думал, уже не страдал. Он знал, что день – тихая радость, перед которой ничто не могло устоять, – простёрся над равниной, тундрой, лесами, где таяли остатки разбегающихся теней. Во дворе разговаривали. Кто бы мог прийти в такой час? Родион не чувствовал ни страха, ни удивления, скорее, что-то вроде удовольствия, от того, что так рядом были голоса, дружеские голоса, ибо голоса, порождённые необыкновенным утром, симпатичны сами по себе, какими бы они ни были, о чём бы они ни говорили – но мысль эта была почти невыразимой.

В приоткрытую дверь просунул голову Курочкин, увидел, что Родион уже не спит, и тихо сообщил:

– К тебе пришли, Родионыч.

Из ночи, из зари, из всего этого воздушно-голубого простора, из рассеянных по свету шумов и тишины кто-то явился... Родион обнаружил, что спал не раздеваясь, с грязью на руках, в заляпанных засохшей глиной сапогах. Он ополоснулся в своём жестяном тазике и окрыленный, с чистыми руками и промытыми глазами вышел. У порога на фоне серой земли

и совершенно белого неба, ожидая его, стоял некто, заросший бородой. На госте было множество сумок, прикрепленных к телу веревочками и ремешками, – двуногий ишак. И он сказал:

– Это вы?

Родион широко улыбнулся:

– Это я.

Измождённый цвет лица, густая борода лопатой, прорезанные складками щеки – всё это делало пришельца понятным Родиону.

– Много отсидел? – спросил он.

– Восемь месяцев, – отвечал тот. – Москва, потом Пермь. Михаил Иванович Костров, член партии с 1917, преподаватель истмата, левая оппозиция, ночь не спал, товарищ, прибыл в два часа. Пересыльные вагоны в нашей стране – это что-то неопишное...

– Ну ладно, – сказал Родион, – добро пожаловать, товарищ Костров. Я уже выспался, ложись ты. Постарайся не шуметь, хозяйка и ребяташки ещё спят.

Родион пристально вглядывался в него и поверх соломенных крыш блеклого цвета в дали за ним, рисунок которых был таким чётким и чистым, что они казались доступными, и ещё дальше – в другой, потусторонний мир, в его сокровенные, озарившиеся

вдруг долины.

Не ты ли, товарищ, несёшь мне ответы, которых я ищу, жду, надеюсь поймать, как только рассеется ночь? Тот, кто их знает, должен прийти вот так, просто, не оглядываясь на звёзды, вместе с зарей. Тот, кто их знает, должен быть тяжёлым от усталости и пережитых невзгод, как ты. В наше время такой может появиться только из тюрьмы...

– Дать чего-нибудь поесть?

– Не надо. В комендатуре оказалось не хамьё, дали мне селёдки и хлеба.

– Здесь они не хамьё, – отозвался Родион. – Верёвку на шее они нам затягивают нежно и ласково. Так что жить можно.

Без лишних слов они разломали полбуханки пышного, весом не менее трёх фунтов, ржаного хлеба, извлечённого Костровым из какой-то сумки. Родион нашёл луковицу. «Сильная вещь против цинги». Потом Костров улёгся. Устал он настолько, что уже не чувствовал тела, но после трясуших вагонов, после Хаоса, после долгого погребения в одиночке, после тошнотворных застенок кутузков на этапе вольный ночной и утренний воздух освежил его до самой души, как купание. Даже бедность лачуги и спёртый людской дух были ему приятны, а вид горячечного ребёнка возбудил в нём глухую нежность. Скинув ватник, точь-в-точь как те, что носят труженики строек большой индустрии и мукденские кули, он поймал себя на том, что напевает под нос.

А сердцу осталось
Сто двадцать ударов,
Сто двадцать ударов...

Тут его мысль приобрела такую чёткость, что ему осталось только улыбнуться в бороду: «Молчи, старое сердце. Ты мне ещё пригодишься».

Вытягиваясь в неуспешной остыть Родионовой постели, он всё-таки кое-что сам себе запрещал, думая о встрече с этим молодым товарищем. Зачем я его обманул? Может, прежде всего мне следовало сказать: «Я сдался. Отрёкся. Капитулировал. Теперь я лишь тень коммуниста, полутоварищ, полуподлец, ибо знаю, что делаю, как и то, что думаю... Никакого

доверия не заслуживаю. После этого согласен ли ты, чтобы я спал на твоём тюфяке и делил с тобой хлеб?» Его плечи медленно расправились. Соврал? Но ведь это им; всем подлецам-инквизиторам я вру и все врут, как сами они врут каждым своим словом, каждым своим действием. Какой истиной я им обязан? Он был рад, что ясные глаза Родиона уже не смотрели на него.

...Рыбачкой улицей Родион спустился к броду. Улица была обнесена оградой из ветхих пепельно-серых досок. Почва – чуть потемнее. Никаких цветowych пятен, только по низу склона пробивалась зелёная трава. Как мы смехотворно слабы и ничтожны! Ничтожны, как земляные черви, которых давят кованым каблуком, и они выживают, расчленённые. Но какая жаркая и лёгкая сила в груди! На берегу Чёрной, прозрачно струившейся в своём каменном ложе, Родион лёг на камни, чтобы напиться вдосталь прямо из потока. Студёная вода окончательно привела его в чувство.

III ВЕСТИ

Всякий раз, когда инженеру Боткину приходилось заполнять анкету (...15. *Социальное происхождение?* 16. *Чем вы занимались до революции?* ... 21. *Состояли ли вы в политических партиях?* ... 25. *Находились ли вы в заключении при Советской власти?*), он объявлял себя «беспартийным, сочувствующим КП». В частной беседе он уточнял: «со-вер-шен-но беспартийный». Знание иностранных языков, любовь к математике, способности к черчению, обнаруженные с малолетства, потаённое наслаждение, которое он получал от нудной работы, вплоть до того, что вечерами он заставлял себя читать, не пропуская ни строчки, самые бесцветные официальные речи – всё это делало его ценным специалистом, уверенным в своей тысяче рублей в месяц без необходимости вступать в партию, которой он сочувствовал. «А чего ещё надо *хому советнику*, кроме тысячи рублей в месяц?» После короткой паузы, отпускаемой вам на размышление, Боткин закрывал вопрос: «Абонемент на «Технише Рундшау». Спал он, вытянувшись возле Лины, любовь была условием хорошего расположения духа, а Лина хорошей тёплой девочкой, почти красивой, приятно глупой, присутствие которой гармонировало с мягким светом абажура из нежно-голубого шёлка: но если выбирать между «Технише Рундшау» и Линой, Лениным тёплом, Боткин не дрогнул бы, ибо он верил в физиологию, а не в сантименты и почитал технику за «рычаг цивилизации...»

В охваченных дымами сумерках ударные бригады стройки Сталинградского тракторного завода имени Сталина с песнями шли с работы, когда директор сообщил Боткину неожиданное: трёхмесячная командировка в Лондон, Париж, Берлин от Центрального управления сельскохозяйственного машиностроения для изучения новинок производства.

– Вы, Виталий Витальевич, получите секретные инструкции. Ну, я вас поздравляю.

Усилием духа Боткин сохранил хладнокровие и только дома, когда прилёг на диван и расстегнул ворот, правая рука его совершенно безвольно свесилась на ковер.

– Может, поужинаешь?

– Нет...

Лина побледнела, живо вообразив себе дело о саботаже. Что будет с ней, если Виталия арестуют? «Тогда пусть арестовывают и Ивана Петровича, а то я умру от зависти перед его Ниной, этой белокрысой уродкой...» Виталий Витальевич улыбался в потолок.

– Что случилось?

– Командировка за границу...

Тут Лина засияла.

– Дорогой мой! – Внезапная нежность подтолкнула её к нему. – С завода только тебя посылают? А Иван Петровича?

– Иван Петрович остаётся...

– О! как я рада, Нина Валентиновна сдохнет от зависти! – Лина была на вершине счастья. – Ты привезешь мне... Да ведь, милый?

Впервые их блаженство бессознательно коснулось тех обширных неизведанных сфер за пределами физиологии, куда они не подступались никогда.

Боткин побывал на заводах, в лондонском предместье, отмеченном язвой нищеты, на освещённых грустной улыбкой островах Сены, в опрятных, серых и голых пригородах Берлина. Буксирчики на Темзе, Сене и Шпрее извергали копоть, старые башмаки большинства прекрасно подтверждали упадок капитализма. Лондонские автобусы были комфортабельны, парижские – зловонны, неудобны, равно и метро, лишённое эскалаторов, а вот подземка... По таким признакам, как грязь на тротуарах и старые фасады Парижа, Боткин распознавал глубокую болезнь, разъедающую французскую буржуазию; английская Империя, благодаря мягким сидениям в автобусах, показалась ему более прочной, чем говорили. Всё его несчастье, если только это можно назвать несчастьем, проистекало от таких нечаянных размышлений, ибо он сделал вывод: «Троцкий и тут не прав, провозглашая упадок Британской Империи...» Но вот на бульваре Сен-Мишель, пробегая заголовки русских изданий у лотка газетчика, Боткин углядел «Бюллетень оппозиции», отпечатанный на тонкой бумаге малого формата. Подцепив ногтем, он приоткрыл тетрадку. «На паровозостроительных заводах, которые за три квартала текущего года дали стране на 250 машин меньше, чем предусматривалось, наблюдается *весьма серьёзная нехватка* квалифицированной рабочей силы. В течение лета только один Коломенский завод покинуло 2000 рабочих...» Боткин подумал: «Естественно. Сегодня текучесть кадров – одна из самых досадных помех на пути индустриализации...» Купленный «Бюллетень» обжигал кончики пальцев своей подрывной бумагой; чтобы укрыть её, Боткин наспех схватил первый попавшийся журнал большого формата, в нём оказалось полно женщин в розовом дезабилье. Боткин спустился по бульвару и поднялся обратно, чтобы убедиться, что за ним не следят, что его не заметили, что ничего не произошло, что он не допустил какой-нибудь ошибки. На мосту Сен-Мишель возникло желание кинуть в Сену оба журнала: и скабрёзный, с короткими объявлениями сводниц, и марксистский, с запретными цифрами первого пятилетнего плана. И правильно сделал бы. Вечером осторожность загнала его в гостиничный номер, где, согнувшись над статьей «Советская экономика в опасности», помеченной: Принкипо, 22 октября 1932 г., и блокнотом, он писал, не смыкая глаз до трёх часов утра, поскольку на следующий день ему надо было на Берлинский экспресс. Ведь «в Берлине, Виталий Витальевич, вам лучше остановиться не в гостинице – это может быть неправильно понято, а в доме для персонала торгового представительства на Лютцовплац...»

«...К сведению: декрет от 11 сентября 1932 г., подписанный Молотовым и Калининным, обязывает единоличников сдавать лошадей в колхозы... Колхозам, обрабатывающим 80-90 % площадей, не хватает лошадей... В последнее время колхозы получили 100 000 тракторов... Полтава: 19 тракторов из 27 не работают уже несколько недель. Станция в Привольнянске, Украина: 52 трактора, из них два не работают с весны, 14 на капитальном ремонте, из оставшихся 36 на посевной занято менее одной второй, и те наполовину простаивают (разумеется, из-за отсутствия горючего). Подсчитайте коэффициент полезности тракторов?»

«Подумать: разлошаживание. Лошадь кормится на месте, полезна как мелкий транспорт. Трактора непригодны для мелких перевозок. Проблема снабжения горючим. Тракторизация требует дорожной сети, парка автоцистерн, создания вагонов-цистерн. Миллиарды».

«Рост механической тяги: с 306 500 л. с. в 1928 до 2 066 000 л. с. в 1932 г. – совершенно недостаточно, чтобы компенсировать потерю животной тяги».

«Число дворов, покинувших колхозы за шесть месяцев: 502 000».

«Диспропорция между плановыми заданиями и сырьевыми ресурсами (дефицит металлов, заводы работают не на полную мощность). Недостаток сырья и кредитов тормозит стройки, заморожены основные средства».

В этих заметках было обо всём вперемешку: о качестве продукции, контрастирующем с количественным ростом; о зарплате: «Успехи социализма определяются условиями жизни рабочих и их ролью в государстве»; об устранении Зиновьева, Каменева, Угланова, Рютина, Слепкова, Марецкого: «Играть в прятки с революцией, хитрить с социальными классами, дипломатничать с историей есть абсурдно и преступно... Зиновьев и Каменев гибнут, не сумев уяснить единственно верное правило: «Делай то, что должен – и будь, что будет» (Л. Т., окт. 1932); о производительности труда и себестоимости продукции, которая вместо уменьшения на 5 %, как предусматривалось, возросла на 2,5 %; о пленуме Исполкома Коминтерна (сентябрь 32-го): «Рекомендовал готовить в Испании диктатуру пролетариата в советской форме». *«Подумать о: сталинская бюрократия стала наиболее грозной внутренней препоной для пролетарской революции (в Испании). Л. Т.»*

«Экспроприацию крестьян, именуемых кулачеством, следует прекратить как причину дезорганизации сельского хозяйства. Пересмотреть планы: хватит гигантизма, умерить размах, строить пропорционально необходимости». Комментарий: *Весьма разумно. Я с самого начала думал так же.*

Пометка на полях:

«Если взять средние цифры 1926 г. (хотя Центральное статистическое управление – это бордель) и считать, что из 120 миллионов сельских жителей (не душ!) около 5 % составляют зажиточные хозяева, то ликвидация кулачества означает экспроприацию и депортацию от 5 до 6 миллионов лиц. Воздействие на сельское хозяйство?»

Собственные замечания Боткин подчеркивал такой ровной линией, что её можно было принять за проведённую по линейке.

«Невозможность встать на гуманитарную точку зрения.

Ничтожность человека перед лицом производства. Производство, приобретающее самодовлеющее значение через план.

Изучить: хорошее содержание рабочей силы (квалифицированной, прежде всего) столь же необходимо, как и хорошее содержание оборудования. Рабочая сила как элемент оборудования. Отсюда: выход из строя из-за недостаточного питания, утомления, травматизма. Ударные бригады, социалистическое соревнование? Производительность. Накладные расходы?»

Почерк у Боткина был мелкий и тщательный. Данные, которыми он заполнил тридцать страниц, отбирались хладнокровно, с полной беспринципностью, чтобы никакой сантимент не вмешался в его выводы. Знать, понимать, реагировать. Техника требует только ясности на основе точного факта. Поразмыслив, он двойной линией синего карандаша зачеркнул заметку об исключении из партии Зиновьева и прочих. Политические сведения имеют вторичное значение. *Итоговая несущественность политики по отношению к технике...* Потом он вернулся к ней, чтобы разорвать на мельчайшие клочки и сжечь в пепельнице. «Бюллетень», подобным образом, с педантичной аккуратностью разорванный на мелкие квадратики, был утоплен им в смыве спального вагона между Экс-ля-Шапелью и Кёльном. Блокнот, перечитанный и продуманный, постигла подобная участь между Варшавой и Негорелым, на границе страны Великого плана, где военные в длинных серых шинелях с зелёными матерчатыми треугольниками на воротниках внимательно перерыли чемоданы

В. В. Боткина, главного инженера Стальсельмашстроя, выезжавшего в командировку. Откуда ему было знать, что в Берлине, пока он в приятной компании расхаживал по Тауенштрассе, где среди газонов катят трамваи, в его комнату проник некто, тотчас нашёл среди двухсот ключиков нужный, чтобы открыть его чемодан, опытной рукой, которая ничего не повредила, извлёк оттуда одну за другой вещи, ещё более искусным профессиональным глазом замечая место каждой, чтобы уложить их обратно и, пренебрегая большими запечатанными пакетами, адресованными Центральной дирекции Управления сельскохозяйственного машиностроения, под бельём, на самом дне, рядом с флаконами «Убигана» для Лины без труда обнаружил блокнот, открыл его, мгновенно раскусив дух, источник... Профессиональное лицо, не имеющее примет, обречённое на неизвестность, осветилось хитрой улыбкой, руки навели на страницы блокнота короткофокусный объектив Цейса. Пять снимков – и всё: вещи на местах, чемодан закрыт, в тот же вечер отправлен секретный пакет в Москву на площадь Дзержинского в особый отдел, где машинистки сделают несколько копий: 1-я – для главной картотеки; 2-я – для политического отдела (подозреваемые в троцкизме); 3-я – для экономического отдела (подозреваемые в саботаже); 4-я – для иностранного отдела (подозреваемые в шпионаже). От старого красного кирпича здания с щипцами напротив стен Китай-города до пятнадцатизэтажной белой четырёхугольной башни на верху Кузнецкого моста телефоны разнесли новое имя, одно из обильного дневного улова, чтобы поместить его среди миллионов других, уже установленных, известных, изученных, взятых, обработанных, ликвидированных, освобожденных мертвящей канцелярщиной от всего, что в них было человеческого: Боткин В. В.

С первых встреч в московской центральной дирекции, куда он представил свой доклад, Боткин по необычным лицам понял, что в Сталинграде какие-то события. Один сотрудник рассказал о них конфиденциально в опустевшем буфете среди холодно отсвечивающих матовым стеклом стенок, торчащих пальм, белых клеёнок и портретов, скованных то ли больничной, то ли корабельной скукой. Официантка, облокотившись и зажав уши руками, погрузилась в пожелтевшие страницы довоенного романа, коллега прихлёбывал с ложечки свою простоквашу, с необыкновенно высокого потолка веяло холодящей тишиной.

– Упрятали всех, Виталий Витальевич, понимаешь: годовые кредиты исчерпаны, а план строительства выполнен на 60 %, только за семь первых месяцев текущего хозяйственного года – это же катастрофа? Теперь завод должен обойтись вдвое дороже и будет завершён только через три года после установленных сроков.

– Чёрт побери! – воскликнул Боткин, радуясь, что его не было эти три месяца. – Я же говорил им! Следовало предусмотреть нехватку материалов, изменение цен, слабость транспорта, падение товарного рубля, недостаток рабочей силы, голод... – Он всё предвидел.

– В конце концов, – возразил коллега, повесив нос, – если бы они предусмотрели такое, то их засадили бы и того раньше, обвинив в завышении сметы, неверии в надёжность рубля, надеждах на дезорганизацию транспорта, недооценке возможностей экономики... Герасимыч сказал почти то же самое в плановой подкомиссии и схлопотал пять лет.

Боткин сделал неопределённый жест. Желчен коллега, антисоветчиной попахивает. Правильно, что таких вот типов не посылают в заграничные командировки! И потом, Герасимыч, да он же бывший социал-демократ, в сущности – пессимист? Пессимизм в нашу эпоху направляемой энергии есть, быть может, неосознанная форма саботажа. И Боткин, чувствуя себя весьма уверенно в костюме лондонского покроя, довольный самим собой, своей удачей и миром, в котором промахи одних автоматически облегчают, продвижение других, заключил:

– Всё утрясётся. Лично я полагаю, что за ошибки в расчётах, наносящие ущерб государству, кто-то должен расплачиваться... Надо иметь ответственность... Человек – ничто перед лицом производства.

– Совершенно с тобой согласен, – пробормотал коллега растерянно, с внезапной отстраняющей вежливостью. Он сжимал в руке свой стакан из-под простокваши, большой печальный гранёный стакан с молочными подтёками, и это было единственным, что их разделяло в то мгновение.

На другой день Боткин был арестован при выходе с совещания в дирекции. Допросили его только через два месяца в полночь. Костюм из прекрасной английской ткани, несмотря на все терзания, сохранил безупречный вид; исхудавший, без белья, с упрятым в волосах лицом, в ботинках без шнурков, он походил в таком одеянии на ряженого дикаря, продувшегося игрока, прихваченного полисменом в лондонском порту, на подлого контрреволюционера-саботажника, взятого с поличным. Он с унынием сознавал это. Стало известно, что на нём висит пять обвинений: контрабанда (из-за двух флаконов «Убигана», привезённых для Лины); саботаж; контрреволюционная деятельность; шпионаж (экономический и политический). Различные параграфы 58-й статьи Уголовного Кодекса грозили ему множеством тяжких кар. Двое военных искоса наблюдали за ним, пока третий уговаривал сознаться. Боткин не испытывал особого удивления перед такой необъяснимой игрой, напротив, скорее, какое-то удовлетворение, что наконец-то он вполне поймёт, как делаются эти тёмные и обыкновенные дела. Но в сдавленном ропоте камер его выматывали страх, испорченный воздух, бескалорийные пайки, сексуальные видения, которые наплывали регулярно с интервалами в несколько дней. Соседи по камере, пятеро спецов, выглядели более озабоченными. Один из них резюмировал положение так:

– Из пятерых одного обязательно расстреляют, остальное, господа, всего лишь случай.

Сознаться в контрабанде, саботаже, троцкизме, контрреволюции, шпионаже, сознаться, сознаться, сознаться, сознаться, сознаться. Возмущённый, сломленный Боткин повесил голову, сожалея, что не находит для признания никакой вины за собой, кроме двух флаконов духов для Лины: это да, это я признаю, их я провез незаконно.

– Разумеется, есть и вещественные доказательства. Не прогневайтесь, гражданин Боткин, вещественные доказательства у нас припасены и другие. Только, когда я их предъявлю, знаете что: спасти вас будет слишком поздно. – С такими словами (было это на шестой месяц нервотрёпки) следователь открыл выдвижной ящик, взял конверт, вытащил оттуда фотоснимок и сурово протянул его обвиняемому. Боткин на мгновение заколебался, признавать ли свой почерк, таким он ему показался необычным на серой глянцевой бумаге, настолько он забыл свой блокнот, некогда исписанный в Париже, перечитанный в поезде между Берлином и Варшавой, уничтоженный в ватерклозете спального вагона за час до советской границы, до Негорелого, настолько невероятным было всё это, несправедливо, сумасбродно, уничтожающе невероятным. «Признайтесь, признайтесь, признайтесь, признайтесь, признайтесь. Эй, где вы?» Да куда бы он делся, побледневший до обморока сквозь свои светлые волосы. Тут он вдруг заговорил безостановочно, признавался, отрицал, доказывал, объяснял, оправдывался. Двое в форме упивались его словами, а скрытая за драпировкой стенографистка записывала.

– Ну вот, Боткин, теперь, когда больше ничто не может вас спасти, кроме раскаяния, было бы лучше признаться и в том, что 30 апреля, когда вы не взяли слова на техническом совете своего предприятия, вы поступили умышленно, чтобы дать возможность вздуть себестоимость на 8 % по предложению одного из ваших сообщников...

– Да, если угодно, – подавленно сказал Боткин, не веруя более в реальность, в истину, в самого себя, веруя отныне только в смерть через разнесение черепа, вероятно, безболезненную, которая настигает сзади, в недрах подвалов. Вокруг всё покачивалось, плыло, деформировалось, уходило в сторону. В бороде зудело, хребет изнемогал, одолевала сонливость. Поспать одну ночь спокойно, прежде чем расстреляют, чего ещё желать?

Предсмертных ужасов подвала он избежал, в конечном счёте всё устроилось даже очень неплохо: в проектном бюро №4 КЛОНА – лагеря особого назначения на Кольском полуострове, 68°8' широты и 37°2' долготы, Боткин обрёл 12 коллег, логарифмическую линейку, чертёжную доску, прекрасные технические справочники на немецком языке и спокойный угол, откуда через высокое окно открывался вид на скалистую землю, окутанную тучами, с которыми северные ветры разыгрывали временами колоссальные воздушные битвы. От бюро до жилых бараков был час ходу через голое пространство под облаками. О, час этот сделался для Боткина часом неожиданной радости: он делил её с попутчиком, бесцветным с виду, носившим столь же бесцветное имя – Иванов, Петров или Павлов – экономистом по профессии, старым партийцем, несмотря на молодость, обыкновенным троцкистом с шестью годами высылки, тюрем, лагерей, этапов за плечами, парнем методичного и своеобразного ума, с которым Боткин впервые в жизни почувствовал возможность говорить вслух, без страха, сомнений и задних мыслей обо всём, что думаешь. Собеседник без церемоний отвечал тем же. В другом месте сказанного ими друг другу в безмолвстве и безопасности было бы достаточно, чтобы исчезнуть навсегда; здесь их сближало полное бескорыстие. Боткин рассказал о своём путешествии на Запад.

– До чего хорошо говорить свободно, – сказал он однажды.

Ему казалось, что он только теперь наконец понял главную прелесть жизни, обычную для стран Запада, хотя они, со своими ночными иллюминациями, милыми женщинами, парламентами, газетами, переполненными преступностью, хронической безработицей, старыми буксирчиками на Темзе, заставляют думать о больших кораблях, устремившихся навстречу крушению.

– Представьте себе, Иванов, в Лондоне или Париже можно говорить где угодно, кому угодно, о чём угодно, как мы сейчас; платишь два франка и покупаешь в киоске на бульваре Сен-Мишель «Бюллетень оппозиции», любые бюллетени, любых оппозиций мира на каком пожелаешь языке... Представьте себе...

Иванов ответил:

– Нет, я себе такого представить не могу, за границей никогда не был, а пока сохранялась свобода в революции, я был ещё в несознательном возрасте... Через несколько лет, когда вымрут старики, которые прошли через царские тюрьмы, никто из ста семидесяти миллионов граждан Союза не сможет представить себе, что такое свобода мысли... Надо будет стать сумасшедшим, чтобы не поддаться набору догм, отпечатанных на мозгах через механический трафарет...

Боткин искал, за что бы зацепиться взглядом в этой пустыне – и не находил. Холмы на горизонте были плоскими.

– Технический прогресс будет невозможен, – сказал инженер. – Почему он оказался невозможен в античных обществах? Потому что рабство...

Иванов пожал плечами:

– Нет, в один прекрасный день всё разлетится. В человеке всегда будет...

– Выходит, вы верите в иррациональное...?

– Я верю в пролетариат.

Фотографическая память помогла Боткину почти дословно восстановить украдкой прочитанное на Западе; оживая в заполярном безмолвии, содержание его воображаемого блокнота незаметно целиком переключалось в сознание Иванова. Коммунист втихомолку без видимой причины посмеивался. Оказывается, вот как идеи преодолевают границы!

Добрую половину своих дней в застеклённой кабине статистического бюро Иванов потратил на то, чтобы на полосках тонкой бумаги шириной в одну, длиной в несколько почтовых

марок чётко прорисованными чертёжным пером буквами, которые можно было расшифровать только с лупой, составить послания: одно – в Среднюю Азию ссыльным Семипалатинска, другое – в Западную Сибирь ссыльным Канска, третье – на Север, в Чёрное. «Дорогие товарищи, судьба революции решается ежечасно. Мы думаем за миллионы бессловесных пролетариев...» Никому никогда не узнать, как были отправлены эти послания, как сработали лагерные почтовые самолёты, какие чудеса изобретательности доставили их к местам назначения. В Семипалатинске, городе среди песков Семипалатинске их получили в знойные дни под раскалённым солнцем, станция на Транссибе Канск была схвачена синими морозами, в Чёрном это случилось в весеннее, рассеявшее по лугам нежно-золотистые бутоны утро.

Хороша была жизнь. Будем реалистами, никакой заметной связи не найти между двумя событиями, совершившимися в совершенно различных сферах мироздания, но факт налицо – мириады лютиков, покрывающих луга трепетной золотой пылью, в немом восторге раскрылись аккурат в то самое утро, когда прибыл товарищ Федосенко, существо простодушно открытое, как эти цветы. Применительно к нему лучше говорить существо, не касаясь, по причине крайней несовместимости, понятий души и даже ума, хотя в его широкой, крупной, сплюснутой с висков черепной коробке отлично функционировал мозговой механизм высшего позвоночного, одарённого речью, до известной степени мышлением, иначе говоря, «историческим сознанием», по его собственному выражению. Существо, у которого всё было плотным: кости, мускулы, челюсти, надбровные дуги, – занимало в мире солидное место. «Форд» областного управления несколько часов петлял по необъятным просторам, раскрывающим золотые бутоны навстречу встающему светилу. На сиденье квадратный в своей тёплой зимней шинели с новенькими знаками различия, пришитыми позавчера, товарищ Федосенко вдыхал холодный ещё воздух открытых пространств.

Восхищая местное население, «форд» описал последнюю петлю на площади Ленина мимо церкви с развороченной маковкой и встал перед зданием госбезопасности. Часовой взял на караул. Федосенко отдал ему честь, точь-в-точь как нарком обороны на экране: короткое, незавершенное, хотя чётко обозначенное движение, рука вскинута, кисть слегка согнута в двадцати сантиметрах от щеки. «Непринужденно небрежный, твёрдый, дисциплинированный – вот я какой, граждане. Возьмем за образец Климентия Ефремыча Ворошилова, бывшего луганского слесаря, нестигаемого наркома, железного человека. И вперёд!» Если бы Федосенко говорил сам с собой, это было бы как на партсобраниях. Но он ничего подобного не делал. Один он или работал, перебирая в памяти доклады, или выполнял задания заочных чекистских курсов, или отдыхал, ни о чём не думая, довольный сам собой, хорошо сделанной службой, обеспеченным порядком, победоносным построением социализма. В эту минуту он вышел из странной, наполненной угнетающими, неприятными видениями летаргии.

Слушайте: люди в серых, метущих по снегу шинелях, перепоясанные ремнями конники каждую ночь отправлялись на задания, которые, никогда не повторяясь, всякий раз были одинаковыми. Они сходили в подвалы, поднимались по шатким лестницам в едком запахе отапливаемых кизяком помещений; под дивным светом луны (всё не так просто) брели они через блистающие снежные поля, глаз не поднимая к сиянию голубого ореола вокруг Луны; они диктовали доклады, заполняли карточки, делали отметки в делах, нарушали инструкции, производили аресты – но, в сущности, как и вся диктатура, как вся земля, они пребывали в полусне; сто тридцать – сто семьдесят тысяч рабочих из лагерей особого назначения (точной цифры никто не знает), которые по суше, болотом, сквозь гранит, леса, высоты, снега, через острова и озёра Карелии рыли Беломорско-Балтийский канал, чтобы крондштадские красные эскадры в случае новой мировой войны могли, не огибая Скандинавии, выйти на великий

арктический изумрудный путь, это сто тридцать – сто семьдесят тысяч осуждённых, перевоспитываясь в труде, тоже пребывали в полусне даже тогда, когда, задубевшие от холода, рвали динамитом горный массив легендарного Заонежья и, чтобы выполнить План – закон, приказ, веру, наказание, гордость – План, штурмовали мёрзлую земную твердь Поморья ударами кирок, ломов, экскаваторами, яростными руками интеллигентов-мистиков, спецов-саботажников, пахарей, сорванных с пашни за слишком хорошие урожаи, расхитителей и халтурщиков из рабочих, служителей культа, незадачливых начальников, разложившихся коммунистов, неподдельных контрреволюционеров и ещё более неподдельных жертв... Они работали днём и ночью при свете прожекторов, в тридцатиградусный мороз, в буран, полуослепшие от метели, которая всё мела и мела, заметая их вместе с машинами, начальством и самой тенью Верховного Начальника, трижды орденоносца, сверхорденоносца Генриха Григорьевича Ягоды, следовавшего по праздникам в двух шагах за Начальником Начальников. Чуть стихнет буран, соревнующиеся стройки немедленно освещались факелами и прожекторами, чтобы на заре начальник участка товарищ Федосенко мог составить доклад: «На сегодня ударные бригады перевыполнили сменное задание на 38 %. Два человека покалечены землечерпалкой, больных – шестеро...» Похожий на разгневанного Петра Великого, обходящего верфи Новой Голландии на хлябях будущего Санкт-Петербурга, в серой, метущей снег шинели, в ремнях, с револьвером, с широким дублёным лицом под каракулевой папашой, в обличье кентавра сквозь колючий мороз, снег, ветер, ночь, невзирая на безразличие, боль, безнадежность, исходящие от этих бригад, стремительно проносился Федосенко с карой и воздаянием на губах – кара беспощадная, воздаяние немедленное: штрафная команда, двойной паёк, право на дополнительную переписку, «представляю вас к досрочному (надо только выжить!) освобождению» – Федосенко из Красноводского ГПУ в Туркменистане, в Закаспии, что в трёх тысячах километров отсюда на берегу великого внутреннего моря с самыми солёными в мире, тёплыми и тяжёлыми водами. Он сам искупал здесь серьёзную ошибку, более того – преступление, наполовину прощённое, благодаря его заслугам старого рубаки непобедимой дивизии Гая и более свежим заслугам, приобретённым во время карательных акций. Это воспоминание ещё наполняло порой его череп влажным жаром: «Вот так – стойкий, железный большевик, но не могу до конца совладать со своими инстинктами», – сказал он, стоя перед своим начальством, при оружии, не краснея, но с таким стыдом в сердце, хоть сдохни!

Слушайте: он пил, задыхаясь в низкой комнате, затенённой развешанными по стенам бухарскими коврами, над гладью перламутровых тонов моря пылал вечер. Он позвонил:

– Пусть арестуют Мариам, официантку из клуба, запрут часа на три в одиночку в подвале, а в десять часов приведут ко мне.

Все три часа перед его тяжёлым взором стояла отсутствующая, запертая двумя этажами ниже Мариам. Арестованная вошла в десять часов, когда погасло мерцание моря. Как песнь Бухары под аккомпанемент сладострастных струн, были вокруг них тёмные ковры. Как взмах крыльев в небе, трепетали тонкие брови Мариам, трепетали её губы, трепетал её взгляд, что-то неуловимое трепетало в глубине её глаз, на губах, на кончиках груди, прикрытых пестрой индийской тканью; крупная, белая, в плечах шире, чем в бедрах...

– Не бойся, красавица, – сказал товарищ Федосенко, язык которого сделался неповоротливым, а речь внятной, – тебе нечего бояться... Выпей. – Он протянул ей стакан мускатного вина. – Выпей. Тебе велят пить, слышишь. – Она выпила, – Раздевайся.

– Вы не имеете права, товарищ начальник...

Что мог он, этот трепетный голос, и что такое право? Здесь видения туманились, от них следовало бы избавиться, они становились невыносимыми, ибо преступление против партэтики, закона, должности, служебных инструкций, бесспорное преступление оставалось пьянящим, единственным в жизни мгновением, ценность которого перевешивала вечность; и

вот уже нет преступления, нет жертвы – всё было справедливо, хорошо, всё было совершением естественного закона, ведь он являл собой силу, порядок, за ним было доверие руководства, он был вознаграждён, вознесён по заслугам...

О чём плакать? Пусть старухи, которые ещё носят чёрное покрывало до глаз, рыдают от обиды и раздирают себе щеки, действовать – вот что надо, писать. Сжав губы, осторожно, затаившись, как кошка, проводила Мариам в ожидании дни и ночи, чтобы в час, когда на посвежевшую землю ложатся тени, скользнуть мимо брошенного караван-сарая в домик Саади, народного писателя, поэта, врача, прорицателя. Ибо всякую науку можно свести в поэму, всякая поэма – волшебство, волшебство лечит, а поэты прорицают; Саади же знал стихи к любому случаю на множестве языков: турецком, арабском, иранском; стихи другого Саади, стихи Фирдоуси, свои собственные и стихи безымянного поэта, который тысячу лет назад вслед за Искандером прошёл иранскими дорогами. Старик с доброй и печальной теплотой во взгляде, увидев смущение Мариам, отечески взял её за руки, как отец и не брал никогда, вытащил из её сжатого кулачка зелёную трёхрублевку, разгладил её пальцем, прежде чем убрать, и спросил:

– Тебя обидели, девочка, оскорбили? Скажи мне всё, как перед богом, который слушает нас, а я так хорошо напишу твою жалобу, что растрогаются люди в кожаных куртках и с каменными сердцами. О любви твоей я напишу так красиво, что человек с сердцем из плоти заплачет от нежности, думая о тебе. Но вижу, вижу, о! подобная свежему ручейку, что с тобой содеяли злое... – В чалме, покрытый старыми, потерявшими цвет шелками, он пощипывал редкую с белыми нитями бороду, сквозь которую просвечивала старая кожа его морщинистых щек. Мариам, не стыдясь, просто, с бесстрастным лицом открылась ему, бесстрашие это было от бездонного, без слёз, слов, жестов, гнева, подобного жажде, но чтобы утолить эту жажду, было бы справедливо убить, без гнева. Старый Саади начертал двадцать вычурных и вместе с тем вполне ясных строк на обороте страницы, вырванной из книги Льва Николаевича Толстого с непонятным названием на языке неверных: «Крейцера соната». На конверте из обёрточной бумаги (он делал их сам из серых листов, которые таскали для него из закрытого магазина ГПУ) Саади написал: «Уважаемому гражданину начальнику Бюро Жалоб Редакции «Известий», центрального органа Центрального исполнительного комитета Советов СССР, Москва, Тверская улица».

– Не посылай это письмо отсюда, газель моя раненая, сделай так, чтобы оно переплыло море, чтобы его сдали на почту за морем в большом городе, что зовется Баку, и потом молчи, полевые цветы молчат, даже если их топчет осёл, ведь полевые цветы поднимутся, солнце аллаха светит им, а осёл всегда будет лишь ослом, ишаком...

Мариам ушла с облегчением, свободным движением запахнув шаль под подбородком. Маленькая, прямая, несущая бессловесный гнев и смертельную гордость, она оказалась на какое-то время совсем одна на мёртвой, обнесённой жёлтыми глинобитными стенами улочке, ведущей к низкому куполу усыпальницы. Письмо было вскрыто среди многих других в столице мира Москве, у высокого окна в квадратном здании в стиле Ле Корбюзье. Безразлично гудели ротаторы в подвале, пишущие машинки пожирали депеши со всего света, линотипы безостановочно выдавали сияющие строки официальных текстов. Николай Иванович Бухарин улыбался в телефонную трубку одному из секретарей генсека, диктовавшему ему идеи завтрашней передовой: «Никакого снисхождения к двурушничеству капиталистических государств, претензии на демократичность которых мы отвергаем – вы хорошо слышите, Николай Иванович? – и которые мы отказываемся предпочесть фашистским государствам... Нажмите на демократическую личину». С согласным лицом Николай Иванович кивал телефонной трубке, даже формулировки повторял, а думал, что это бессмысленная, исходящая от чистого кретинизма, гибельная политика, что нынче же вечером надо встретиться с Алексеем Ивановичем Рыковым, надо обменяться мнениями, ибо нельзя так играть судьбой республики, надо поговорить. В уме он одновременно выстраивал и периоды требуемой передовицы (чтобы не дать себя подловить), и противоположный,

правильный тезис о том, что, формируя позицию в отношении держав, мы не можем не считаться с их внутренними режимами, то есть с условиями, которые они создают для рабочего класса... На том же этаже, в комнате бюро жалоб молодой карьерист, направленный не так давно Центральным Комитетом комсомола на учёбу в Коммунистический институт журналистики, пробегая затейливую вязь старого Саади, припомнил, что начальника Закаспийского ГПУ считают связанным с правым уклоном. Рискни этот юный феномен, рождённый для вторых ролей, но незаменимый в политических интригах, посвятить свои таланты астрономии, к двадцати двум годам он знал бы точное место почти всех звёзд вплоть до седьмой величины с учетом их знака, взаимосвязей и перемещения в пространстве; но он знал в тонкостях лишь созвездия «аппарата», силы притяжения подспудных интересов, дружеских связей, брачных уз, сообщничеств, идейной близости, которые поддерживали между ними невидимые обычному глазу идеальные линии. Он мгновенно сообразил, что Г., большевик с 1907, покровительствовавший в 1920 в Тамбове, во время формирования конармии, начальнику местной чека товарищу Н., похоже, приложил руку к продвижению Б., начальника милиции в Закаспии, который, в свою очередь, будучи близок через замужество сестры с помощником наркома почт и телеграфов М., примыкал в силу этих двух причин к правому уклону; и некто Федосенко, уличённый в насилии и злоупотреблении, начальник Красноводского ГПУ в Туркменистане, назначенный и пользующийся доверием Р., компрометировал его в случае расследования, Р. компрометировал Б., через Б. скандал восходил до Н., ныне помощника члена ЦК, и венчался очернением Г., человека безупречной репутации... «Совість», – подумал вундеркинд с презрением. Он перебросил серый конверт в кипу «особо важных дел» и одним мановением, между двух папирос, прервав продвижение Федосенко, заставил этого крупного человека перенестись с холодным ветром от горячей пустыни Каракум, от гор Чилмаметкум, окрашенных в тот вечер в розовато-лиловое, до исправительно-трудовых лагерей Заонежья.

На стройках Севера Федосенко нашёл Клавдию, прислугу при начальствующем составе, бесцветную мелкую сибирскую рецидивистку, осуждённую за сбыт самогона из-под полы – за рубчик скляночка из кармана юбки перековывала в руки какого-нибудь босяка, у которого всего и было-то – рубчик. Рождённая повиноваться, как он – руководить, Клавдия повиновалась. К счастью, она никогда не жаловалась, а ведь на сей раз он мог бы получить вышку – девять граммов заостренного металла в затылок. Тощая и опрятная, хитрая, миловидная, с бисером в глубине глаз, она утаскивала у него половину пайка, и он не позволял себе сетовать на это, пока, по крайней мере, она ему нравилась. А там посмотрим. Любви, которую можно предположить в преступной связи, тут не было, не было и счастья – оно состоит в продвижении.

Заслуженное счастье возвратилось. Из лагерей особого назначения на строительстве Беломорско-Балтийского канала, где сто тридцать – сто семьдесят, а то и все двести тысяч рабочих обоёго пола перековывали себе заново душу, вдохновенным (только бы не сдохнуть) трудом, верша историческое творение, более величественное, чем прорытие Суэцкого или Панамского каналов, проходка Сен-Готардского тоннеля, осушение Зюйдерзее, не имеющее себе равных, намеченное прозорливым гением величайшего вождя – с этой серой, заледенелой стройки, над которой вечно нависал угрюмый металлический отблеск, товарищ Федосенко, восстановленный по службе за прекрасное выполнение плана доверенными его попечению заключёнными, в один майский день прибыл в Чёрное, чтобы принять на себя руководство особым отделом: партийная мораль, надзор за ссыльными, секретные операции. Прощаясь с подчинёнными, он принял из рук инженера ударной бригады специалистов бюро № 4 В. В. Боткина чернильницу из радужного кварца, сработанную руками осуждённых, благодаривших в лице Федосенко незабываемого воспитателя, что свидетельствовало о завершении их гражданского возрождения.

Теперь в радужной чернильнице переливалась крупная рубиновая капля. Сквозь прозрачную тюль Федосенко наблюдал тропинки, протоптанные прохожими на площади вокруг

маленького бронзового Ленина. Без шапок, чуть наклонив навстречу весеннему ветру головы, мимо шли Елькин и Рыжик. Новый замначальника ГПУ взялся за бинокль, чтобы получше проследить за ними. Мы бдительные, мы сознаем свою ответственность, мы – сила в авангарде мира, поднимающегося из хаоса. Мы есть порядок. И я вам это докажу.

Товарищ Федосенко принялся незамедлительно искоренять злоупотребления. Председатель Совета Аввакум Несторович, вызванный к нему, подписал постановление, запрещающее гражданам, пользующимся правом голоса, принимать высланных в свои жилища, имелись в виду спецпереселенцы, дабы вредное влияние раскулаченных не могло распространяться среди местного населения. Это была серая афишка со множеством орфографических ошибок. Белобородые старцы, многие из которых походили на Льва Толстого, зрелые, заросшие и всклокоченные мужики, со времен нашествия скифов походившие только на самих себя, молодые, атлетически сложенные, иногда измождённые крестьяне, одетые в грубошерстные ткани женщины, прижимающие младенцев к своим пустым грудям (ребятишки постарше цеплялись за их юбки) – весь этот молчаливый мир, дыша трупным и животным смрадом, толпился перед входом в ГПУ и ждал, долго ждал на стылом ветру этого дня, потом рассеялся мелкими группами по улочкам, потянулся вдоль дорог к леску, что на той стороне реки, и исчез необъяснимо, будто земля и скалы поглотили его. В самом деле, никто ничего не понял. На краю города, откуда начинается пространство, кружили от калитки к калитке женщины и дети, именем Христа, божьего сына и спасением души вымаливая корку хлеба, и невероятно то, что в конце концов они чего-то добивались, хотя хлеб был по четыре рубля фунт, в восемь раз против законной цены и даже по такой цене его не было... Львы Толстые рубили брызжущие соком молодые кусты, чтобы прикрыть землянки, вырытые их сыновьями на опушке леса. Вечером луга окутались дымами. Две семьи устроились на берегу Чёрной, укрывшись от ветра под утесом. Совет издал новое постановление, запрещающее спецпереселенцам рубку леса, собственности общественной и потому священной.

Багровея от усердия, Федосенко изучал вскрываемую негласно переписку политических ссыльных... Кроме того, он заочно проходил курс Высшей школы госбезопасности. Урок XXII: «Методы следствия в Соединённых Штатах». Психология, XI урок: «Психология профессионального сознания». Ленинизм, IV: «Учение товарища Сталина в борьбе против троцкизма». VII: «Неравномерность развития капиталистических стран...» Науки, сведённые к параграфам, абзацам, выводам с резюме в двадцать строк по каждому уроку и вопросами для самопроверки (смотри ответ на последней странице), не учили его разбираться в упрямых душах. Федосенко сквозь лупу изучал почтовую открытку, покрытую твёрдым почерком Рыжика, лупа увеличивала завитки букв, укрупняла текстуру плохого жёлтого картона, но неуловимый дух текста не поддавался. «Эх, бога психологии душу, – думал Федосенко, – всё равно вы у меня будете искать пятый угол...»

Город узнал одновременно, что пришла цистерна с керосином для райкоопы и что лавка табактреста утром выбросила в продажу двенадцать ящиков папирос «Красный завод» по шестьдесят пять копеек, дрянь, по правде говоря, жуткая, но чего не закуришь! Курить можно любую солому, пить – всё, что льется, даже то, что потом выворачивает вам кишки, расстраивает зрение, делает зелёным лицо и сиреневыми губы. Гранёными стаканами будем пить любое зелье, лишь бы оно вливалось в нас тепло и силу, заставляло орать, плакать, петь, смеяться и падать отрешённо в придорожную канаву, не чувствуя холода, согревая собой землю... На улице товарища Лебёдкина образовалось три очереди: одна – перед хлебным, куда отправили самых старых баб, самых щуплых девчонок – надо было только выстоять очередь, чтобы не отправили на завтра. Первые прочли то, что было написано карандашом на бумажке, приколотой к двери: «Купоны за 20-е аннулируются», – эти слова чуть слышным ропотом пробежали от первых старух до последних девчонок, мгновенно охватив

сотню анемичных, прилепившихся друг к другу и к стене существ. Новость никого не удивила, один «срыв» раз в десять дней был делом обычным, так что 10, 20 и 30 числа были без хлеба; но когда одна сообщила, что в следующем месяце отменят карточку иждивенцев в семьях работающих, кроме детей до пятнадцати лет, послышались беспокойные вздохи, а старые бабы с лицами цвета плесени ещё шире вытаращили глаза.

Очередь за керосином выстроилась перед закрытой лавкой, никто точно не знал, будет ли керосин, не отправят ли его сначала в закрытый кооп для ответработников, как, помните, в прошлый раз? Когда прождали целую ночь под сочувственными взглядами звёзд в разговорах о преступлениях и любовных историях, чтобы поутру увидеть, как грузовик подруливает к магазину ГПУ! Конечно, его на всех не хватит и больше трёх литров на душу не дадут, а жёны и дочери бывших красных партизан с новым удостоверением (пройдохопродавец проверяет печати, чтобы убедиться, что вы прошли прошлогоднюю чистку) будут отпущены вне очереди, жёны рыбаков передовой бригады потребовали бы того же, но их пошлют подальше, каждую в отдельности и всех вместе, ведь известно, что такое передовая бригада, она даже плана не может выполнить. В организации очереди проявляется инициатива масс: можно поставить свой бидон, пометить его кирпичом, закрепив место таким образом, и пойти по другим делам, при условии, что покараулишь в свой черед, ибо «они могут привезти керосин только завтра, это я вам говорю, у меня муж – шофёр, он знает, что свободных машин нет, он сам мне сказал». Ну да ничего, ночь будет тихой, кто-нибудь покараулит; в полночь, когда луна выйдет в зенит, молодки, с лица совершенно белые, будто распалённые до обморока, вполголоса затянут:

Ой, майская ночь, ой ты, мой милочек,
Я те дам, я те дам.
На скамейке я те дам –

здесь делается пауза, чтобы заинтересовать тем, что они дадут своему милочку на скамейке, эти нежные девушки –

Беленький платочек...

Ну что, довольны, а милочек этот доволен? Как говорится, много желать – добра не видать...

Вдруг из темноты с ружьём за плечом выйдет ночной сторож Фома – серебряная борода:

– Мне, девушки, и того хватит... – Загадочно: – А добра вашего я навидался...

– Расскажи что-нибудь, дедушка...

– Спляши что-нибудь, дедушка...

В призрачном свете луны старый Фома, уперев в бок одну руку и вскинув другую, попляшет, почти не двигаясь с места, притопывая каблуком в лад пению девушек, истрёпанных женщин, беременных бабенок и девчонок-дурнушек, которые в такие минуты чувствуют себя прямо красавицами... Надо только дождаться ночи. Не станем предвосхищать грядущей радости, всему своё время. Сейчас интереснее всего третья очередь – за папиросами, вот они, папиросы, на весь город их, как водится, не хватит, а если половину снова заберут для части особого назначения, что останется простым гражданам?

...Равнодушные к хлебу, керосину и папиросам, чоновцы в колонну по три маршируют по улице. Туго перепоясанные зелёные гимнастёрки, палец на гашетке винтовки, слюдяные кружки противогазовых масок придают человеческим глазам странное выражение. Пот заливаает лица. Прозрачен северный воздух, но красные бойцы идут уже сквозь иприт будущих войн, вдыхая отфильтрованный химический воздух через кольчатый хобот, который делает из них монстров.

– Тридцать рублей стоит противогазовая маска, – говорят в очереди за хлебом, – кажись, всем придётся покупать такие, выйдет решение Совета, стоимость будут вычитать из зарплаты...

– А я не желаю. Чему быть, того не миновать.

Другие приглушённо вторят согласным ропотом: чему быть, тому, уж точно, не миновать...

Перед входом в Табактрест где-то в седьмом десятке Авелий с Родионом. После них ещё сотня. В числе сотых Елькин, прервавший по такому случаю свои расчёты планов улова на ближайшие восемнадцать месяцев, он делает им знаки.

– В нашей тюрьме, – задумчиво говорит Авелий, – противогазы одевали на тех, кого вели кончать... Для того, оказывается, чтобы они не кричали. Это придавало всем обречённый вид...

– Не унывай, их продают по тридцать рублей, цена им – три, а толку никакого... Ведь эти бедняги даже без них не особо разговорчивы, они уходят молча. Помню одного, полумёртвого от страха бывшего торговца из казахов, который забился под нары, надеясь избежать этого, он скулил, будто у него болели зубы. Конвойный выволок его оттуда за волосы, дал ему пару затрещин для восстановления в чувствах. И тот сделался умным, спокойным, как все, и ушёл без разговоров, только обернулся напоследок, чтобы отдать свой котелок другому казаху...

Тридцать монстров с хоботами по команде чётко приставили ногу перед столовой частью особого назначения. Как легко превратить их обратно в людей! Тридцать масок с мёртвыми глазами слюдяных кружков спадают на усталые груди – и вот вам тридцать потных молодых лиц, выстроенных в линеечку...

– С сегодняшнего утра я уволен, – говорит Родион.

– И ты тоже?

Авелий потерял работу днём раньше. А нынче утром, в семь часов, бригадир поманил Родиона, натягивавшего рабочий комбинезон:

– Не трудись. Собирай манатки. Я, понимаешь, ни при чем. Приказ у меня. Поторопись. Прощевай, брат, удачи тебе, что ли.

Родион, глаза по сторонам, прошёл по рынку с пустыми руками и нелепой улыбкой на лице. Скоты. Скоты. Придётся жить на их пятнадцатирублевое пособие: ржаной хлеб по карточкам – девять рублей, остаётся шесть. Угол у Курочкина стоит тридцать. Где спать? Потом Родион совершил сделку. Сбыв тут же трехдневную норму хлеба, он выпил большой стакан водки и отложил четыре рубля на папиросы и марки. Когда ничего не делаешь, прекрасно можно продержаться на трехстах граммах хлеба в день: он зайдет к Варваре на чай с сахаром, сахар – это питательно. Подходила очередь, они топтались в магазинном сумраке в двух шагах от прилавка.

– Елькин прав, ГПУ просыпается по весне. Что-то будет. Как тебе вновь прибывший товарищ?

– Костров?

– Да. Ценный товарищ, образованный, знаешь, прямо удовольствие расспрашивать его, у него на всё есть ответ, истинный марксист...

– Из наших или как?

Родион слегка замялся:

– По-моему, он что-то подписал, но – из наших...

Продавец стопками выхватывал из ящика пачки папирос и подталкивал их к покупателям, загребая одновременно деньги.

– Шесть пачек в одни руки, три девяносто, без сдачи: живей, живей, гражданин, следующий, следующий, говорю. – Родион выложил на прилавок деньги, три жёлтых бумажки. Продавец отстранил их.

– Следующий.

– Чего? Чего? – удивился Родион.

Сзади зашумели, чтобы отходил. Внезапное препятствие ошеломило. Из оцепенения его вывел какой-то рыжий здоровяк, гаркнув густым голосом в самое ухо:

– Эй, разиня, ты же видишь, что это не про твою честь. Мотай, короче, задерживаешь движение.

Авелий и рта раскрыть не успел. Продавец склонил к нему своё плоское, раскормленное, бульдожье лицо:

– Не про вашу честь, потрудитесь понять, что ли.

Вокруг заворчали. Народ был доволен: в очереди до тебя двумя меньше, и вообще – папиросы рабочие, и контра на них права не имеет. На выходе парней встретил резкий толчок.

– Что стряслось? – спросил Елькин. – Сдается мне, что вы не под впечатлением резкого снижения цен по решению ЦК?

Сориентировался он мгновенно.

– Пошли, братишки, на солнышко.

Среди них он был как старший, на голову выше, крепкий и весёлый, рождённый идти против ветра. Авелий предположил, что лучше было бы дать раза три по злобной роже торгаша.

– Только не это, – пустился поучать Елькин. – Примо, этот гражданин ни при чем, совсем как уличная грязь. Секундо, добьешься, что тебя ушлют года на три рыть каналы или строить пирамиды за покушение на личность члена профсоюза. Терцио, будет объявлено, что троцкисты посягают на жизнь рабочих и мешают справедливому распределению продукции табачного треста...

– Нет, мальчики, учитесь жить. Мы, вероятно, всего лишь в начале пути, мы жрём прекрасный белый хлеб... А папиросы купим в частном секторе коммерции, вот они...

И верно, они были рядом, в грязных руках обветренного, курчавого и оборванного пострелёнка, сидевшего на краю пустыря, на том, что до потрясений было порогом богатого дома.

– Да здравствует юность с большой дороги, будущее страны. Может быть, этот чумазый – будущий Бетховен? Верно, старина, ты ведь любишь музыку? Бей, барабан! Или – желаю ему того – будущий военачальник, который повторит взятие Кремля, поход на Варшаву, поход на Шанхай и многое такое, о чём мы и не помышляем. Не так ли, старый пройдоха? Откуда ты? Из Баку, говоришь? По-моему, в тебе бездна талантов. Мы зайдем выпить стаканчик. Если ты через часок принесешь мне носовой платок и ещё что-нибудь получше из украденного, не сходя с этой улицы – у тебя будет три рубля. Заметано? А я профессионал. Принимал участие в разграблении Империи.

– Мы правы, товарищи, как камень прав в своей твёрдости, а трава в том, что растет, ибо революция не должна погаснуть. Без нас от неё останется один железобетон, турбины, громкоговорители, гимнастёрки, эксплуатируемые, шуты и стукачи. Всеобщее надувательство. Но мы есть, легли на дно – и удар прошёл мимо. Мы вправе существовать, а

этот жулик – воровать, ведь для него это единственный способ выжить, а он имеет право жить, ибо довольно его отрепьев, чтобы опровергнуть великую ложь...

– Постоим немного на солнышке. Может, сегодня вечером нас запрут в подвале госбезопасности. Поймите это хорошенько, чтобы оценить прелесть солнечной ласки. Я учу вас мудрости! Когда-нибудь, в безнадежной тьме, укладываясь на нары, вспомните солнце этой минуты. На земле нет большей радости, чем любовь, а она – это солнце в жилах...

– А мышление, – спросил Родион, – мышление?

– Эх, то, что над нами сейчас, это, скорее, солнце полуночи. Леденящее. Что делать, если в веке полночь?

– Будем людьми полуночи, – с какой-то радостью сказал Родион.

У входа в пивную малец с руками негритёнка догнал их. «Давай три рубля, дяденька», – победно кричал он, размахивая грязным платком и книжечкой...

– Негодник! Знаешь ли ты, что стибрил партбилет у ответработника? Я сам брошу его в почтовый ящик. Тебе он ни к чему, мне тоже, мы другой расы. А этот ремок брось в канаву и постарайся никогда не сморкаться в платки бюрократов... Держи свои три рубля.

– Сроду не сморкаюсь в платки, – гордо произнёс парнишка.

Солнце струилось на них, на город, на женщин, ожидающих свой нищенский хлеб, на тех, кому до завтра стоять за керосином (всему своё время), на серые, наклепанные на стену, кричащие о победной индустриализации газеты, на тощих, с длинными рыжими гривами лошадок, которые понуро волокли мимо свои тряские телеги... Солнце.

Посылку, небольшой десятикилограммовый ящик, Варвара донесла сама. Из-за тяжести на улице ей пришлось делать передышки через каждые сто метров. Вовремя пришёл Авелий, чтобы помочь вскрыть крышку. Длинные пальцы Авелия в любом деле сохраняли очевидную элегантность. Они накладывались, упирались, сгибались, сжимались с мужественной грацией. Наблюдая, как они дёргают гвозди, Варвара смущенно подумала, что он, наверное, для того не вырывает их щипцами до конца, чтобы получить удовольствие от этих ловких движений, что такие руки создавались из поколения в поколение – умирая и возрождаясь снова, – чтобы сплестать гибкие ивовые прутья, расписывать горшки, чеканить серебро, налаживать стрелы для лука, дразнить сокола, удерживая его одной левой...

– О чём мечтаешь, Варвара? – спросил Авелий, поймав её взгляд, такой близкий и одновременно такой отсутствующий, какой бывает, когда мы бессознательно стремимся постичь другого человека, всю глубину и сложность его существа на данном отрезке вечности так, что на миг перестаём его воспринимать.

– Ни о чём... Пустяки, Авелий, не пойму, зачем мне прислали эту посылку. Ещё не время. Сказано о книгах, что бы это значило?

У Авелия взгляд как у того же сокольничего в коричневом тюрбане: так, приоткрыв белозубый рот, следил бы он за полётом своей ловчей птицы... Но сейчас, в пространстве, которое принадлежит только ему, он ловит тонкую нить замысла, составленного в духе лучших из центров политического заключения.

– Знаешь, Варвара, как только ты показала мне эту открытку, я подумал *о почте*.

Лёгкий нажим на два последних слова сообщил им особое, с оттенком магии, свойство.

Вот чёрные сухари, сахар, сало, папиросы, портрет Кати, запачканный салом... Толстощёкая трёхлетняя Катя, маленькая обожаемая калмычка в кудряшках и вышитом чепчике. Тайный досмотр разобрал и снова уложил упаковку, это заметно.

– Держу пари, новый, Федосенко, лично занимался этим, – бормочет Авелий. – Он, хам, в своём кабинете, как охотник в засаде, а мы – его дичь. Душа тюремщика в теле медвежатника...

Вот книги: второй том прекрасного академического издания «Тысячи и одной ночи», роман Пильняка, томик Пастернака, тотчас раскрытый на странице, где остался яркий след:

У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску...

Поставив томик на сухари, Варвара читала вслух, улыбаясь и посматривая на портрет Кати:

– И всё-таки я не понимаю...

Гроза, моментальная навек...

Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днём!

Взять каждый предмет, тщательно прощупать его. Чему она и предалась. Ни значка на жирной бумаге, ни на обрывках газеты, в которую были завернуты сухари. Авелий изучает строчку за строчкой: могут быть почти незаметные точки, рассеянные среди буковок текста. Их делают либо карандашом, либо булавкой; выбирая помеченные буквы, можно восстановить послание. Этот трюк они знают, как почти все уловки, и если бы не их глупость, небрежность, не было бы никакой переписки. Хотя бы какой-нибудь намёк на обрывках газеты. Ничего.

– Знаешь, Варвара, часто *они* из предосторожности подменяют упаковку в посылках... Скверная повадка.

Варвара листает «Тысячу и одну ночь», разочарованная гравюрами, имитирующими миниатюры древних персидских манускриптов, где глаза прекрасных султанш столь же невыразительны, как и круглые их груди.

– Прекрасно издано, – говорит она.

Авелий берёт у неё из рук книгу, прикидывает на вес, изучает орнаментированную обложку.

– Если почта есть, она должна быть тут – вот моя мысль. И надо, чтобы почта была, ведь так больше нельзя жить. Пять месяцев без новостей, чёрт побери. Родион начал задумываться в одиночку. У него такая нужда в идеях, что он их выдумывает, а коли так, представляешь, до чего он способен додуматься. Не дашь ли мне ножниц? К дьяволу переплёты «Академии», ими разворачивают пролетарские вкусы. Если здесь пусто, не сердись на меня, ладно...

В обложке ничего. Ни тезисов, ни сообщений... Коли так, дорогой товарищ, большое у меня желание разодрать твою книгу на мелкие кусочки и спалить.

– Позволишь?

Не очень-то приятно, когда новую, ценную книгу терзают ножницами. Варвара расхохоталась.

– Вот видишь, так и с людьми. Уцепят двумя пальчиками душонку со всеми свежеоттиснутыми на ней историйками, взрежут её – и видят, что внутри ничего; оказывается, это даже и не душа была, а что-то сугубо материальное, никчемное и пустое...

Авелий отвечает:

– Глупостей не болтай. Есть только тело, но оно дьявольски разумно, это тело. И внутри – чисто, полно доброй животворной крови...

Собравшись было отступить от испорченной книги, он оторвал корешок, который показался ему слишком плотным.

– Ну вот, что я тебе говорил?

Из разодранного коленкора торчали сложенные в длину узкие полоски, покрытые микроскопической каллиграфией Иванова в Техбюро №4 КЛОНа, Лагеря особого назначения на Кольском полуострове... Даже если бы его сокол настиг зайца в пахучих травах, Авелий не испытал бы большего восторга.

– Как ты сказала, Варвара: «гроза, моментальная навсегда...»?

– Глазам своим не верю, – жалобно произносит Варвара.

Прямо, будто подломившись, она села, опираясь руками о край стола. Обычный лёгкий румянец сошёл с её щек, лицом она стала землистой. Почта, да, невероятная почта, которой столько месяцев не было. После тех предательств. Маленькие, прозрачные листочки, покрытые идеальными рядами песчинок, которые были буквами, которые были словами, мыслью, истиной революции, смыслом жизни, поскольку больше не осталось ничего: ни ребёнка, ни мужчины, ни надежды, даже малейшей надежды для себя. «Так вот и состарюсь. Уже почти образина». Нет больше ничего, кроме нашего поражения, воспринятого стойко, поскольку так надо, поскольку нельзя ни отмежеваться от пролетариата, ни отречься от истины, ни изменить ход истории. А диалектика истории требует, чтобы в данный момент под колесом были мы. Жизнь, благодаря нам, продолжается. Победа придёт, когда нас уже не будет. А вот что есть: товарищи, тезисы тобольского изолятора, обращение к ЦК ссыльных Тары, резюме последних номеров «Бюллетеня», составленного в Принкипо и изданного в Берлине. Тайные листки нашёптывали: тюрьма, тюрьма, тюрьма, тюрьма, бесконечная тюрьма, решётки, заборы, железные заглушки на окнах, распорядок, общие камеры, споры, голодовки, почта, которую передают через трубы в уборных, через дыры в стенах, из окна в окно, спускают по нитке над головой часового, и смертники в нижнем каземате берутся сберець её на какое-то время – хорошие парни, на них можно положиться – такие письма пишут, наострив уши, притворяясь читающими, но следом идёт головная боль, отчаяние из-за разногласий: точки зрения непримиримо противоречивы, вызревают расколы, к отступничеству приходят на ваших глазах... Идут годы, оставив друзей, ты выбираешься из камер, из-за заборов, становишься свободной, но это другой плен: у тебя воздух, земля, хлеб, который надо взвешивать для народа, и – почти ностальгия по тюрьме. Авелий спросил:

– Не рада?

– Что ты, я счастлива.

Он не знал, каким бывает в счастливые минуты это открытое, гладкое и бесцветное лицо. Коротко подстриженные волосы заключали его в чёрную рамку, запавшие орбиты, хорошенький серый носик. «Счастлива, конечно. Чудесно. Мы воспрянем. Надо сказать товарищам, ступай сейчас же, Авелий...» Глаза были совершенно сухими, но казалось, что она вот-вот заплачет.

На площади Авелий повстречал Рыжика, возвращавшегося из ГПУ.

– И мне, – сообщил он, – указали на дверь по сокращению штатов. Как будто коопу Вторсырья больше нет нужды вытягивать план. Федосенко мне прохладно разъяснил, что он тут ничем помочь не может. Я так и не добился ответа: то ли утиль у них иссяк, то ли, наоборот, выше крыши. Эх, какое дурачье! – Голос его искажало усталое презрение. (Большого напряжения внутренних сил требует даже от сильных жизнь с презрением.) Узнав главную новость, он покачал головой: – Поостерегитесь. Кого ты собрался информировать?

Кострова? Я категорически против. Удержаться в Москве до прошлого года – это превосходный аттестат трусости, можешь мне поверить.

Родион читал на пороге домика Курочкиных. Авелий пристроился рядом и, нежно обняв за талию, заговорил ему на ухо. С искрой в глазах они переглянулись и засмеялись... Елькин в Рыбтресте заполнял формуляр длиной в метр, разграфлённый на шестьдесят пять колонок.

– В честь праздника, – объявил он, – здесь я поставлю максимальный коэффициент. Завтра посчитаю, сколько тонн рыбы добавил таким образом к никчемным прогнозам. Досадно, что при этом я нарываюсь на поощрение начальства.

День кончался. Авелий спустился к Чёрной и велел переправить себя на ту сторону; перевозчик из спецпереселенцев, изо всех сил работая веслом, тихим, прерываемым вздохами голосом бормотал: «Так-то, сынок, так-то...» Другой берег в этом месте был плоским; прямо, на севере – далёкая линия леса с уходящей в бесконечность просекой посередине. Дальше, в дальней дали – море и льды. Авелий пошёл навстречу пространству. С небес порхнули удивлённые синицы, уселись в нескольких шагах, чтобы, подпустив его поближе, взлететь из-под самых ног, описать над головой широкий круг и снова поджидать в траве, как бы сопровождая. Он был благодарен, что его не боялись и так хорошо угадывали, куда он, сам того не зная, шёл. Они окружили его лёгким, доброжелательным присутствием. Он шагал, расправив плечи, дыша полной грудью, с одним-единственным образом в глазах, и не было больше ничего, кроме окрашенных радостью реальностей земли и простора впереди. И вдруг, восхищённый собственным голосом, он запел грузинскую песню, слова которой никогда не имели для него точного смысла, но в них была мужественная сила и печаль со вспышками радости, похожими на удары в литавры.

В город он возвратился, лишь когда совсем сошла ночь. Жил он на чердаке над пустующим амбаром, где ночная беготня крыс производила впечатление катающихся по полу шаров. Трухлявое строение вросло в землю. Какая-то семья обитала в подвальном помещении, окна которого из-за растрескавшихся, залепленных замазкой стекол казались затянутыми крупной паутиной. Сквозь них пробивался красноватый свет. От крыльца осталось только две ступеньки, которых пока не успели оторвать соседские ребяташки.

Авелий поднялся и присел подле двери, заложенной поперек берёзовой жердью. Напротив виднелась крыша низкого соседнего дома, силуэт которого выделялся на фоне неба, и прямо над этой крышей звезда, остановившая его взгляд. В её мерцающей неподвижности он уловил чуть заметное движение, и это движение видел только он, больше никто. Это обрадовало его, но в самой глубине радостного чувства присутствовал тревожный момент. Заквакали лягушки, где-то отозвалось лаем, совсем рядом, в темноте ворочались животные. Столько тварей живых в этой тишине, а звезда продолжает свой невообразимый путь. Авелий прищелкнул пальцами. Грудь и голову распирала приглушённая песня. Рождались слова. Протянув в пустоту руку, Авелий зашептал:

– Всё так просто, брат Родион, я не люблю думать, но прекрасно понимаю, что значит жить...

Тело его протестовало против затворничества на чердаке, над крысами, и ноги требовали ходьбы. Жильё холостяка подобно могиле. В Авелий шевельнулся бунт против самой идеи улечься тут как мёртвому в вечер таких событий. «Не так уж и холодно, пойду спать в луга». Он побежал по тёмным улицам, постоянно оглядываясь, чтобы найти свою звезду, но на бегу ему уже не удавалось уловить её движение. Вот так же недавно оглядывались на него птицы. Наконец он встал перед запертым двором с калиткой без нескольких планок. В доме за белой занавеской горела лампа. Авелий пролез в дыру между планками, пересёк двор, как бы играя, пробежался кончиками пальцев по полозьям перевёрнутых саней и тихонько стукнул в тёмную дверь.

– Опять ты, – без удивления сказала Варвара, – а я после твоего ухода читаю, не отвываясь... Это так неосторожно...

Она отвернула газетный лист, прикрывавший послания с бисерными линейками слов, идей...

– Это, Варвара, надо спрятать. Отчего бы им не явиться сегодня, этим бдительным мерзавцам? Давай я.

Они пошли во двор прятать драгоценные бумаги под санями. Дружно, сплетаясь пальцами, они присыпали их землёй. И тут комната стала особенно пустой. Узкая койка, стол, на стене портрет ребёнка – Кати, книги на полке, керосинка, туфли в углу, заброшенное рукоделье. Варвара скрестила на груди руки, кутаясь в летнее пальтишко, которое служило ей домашним халатом. Они постояли в пустоте, едва не соприкасаясь, и она первой нарушила их короткое смущенное молчание:

– Посидишь немного, Авелий?

– Нет, пойду, поздно – ложись.

Эта шея, эти гладкие виски, эти круги вокруг глаз, этот тонкий, тёмный, полуоткрытый от ожидания рот – вот что на закате, в лугах, где порхали птицы, виделось ему, рождало в ночи музыку, удивительный бег звезды над горизонтом и что-то такое в нём самом как ощущение готовых раскрыться крыльев.

– Ну ладно, Варвара, до свидания, – сказал он, взяв её за руки.

Он и правда хотел уйти, открыть дверь, шагнуть в ночь, в полное одиночество между небом и землёй, но не уходил, сжимая эти застывшие руки в своих, а Варвара из дальнего далёка серьёзно смотрела на него.

– Ты, Варвара, хороший товарищ, и я... Нет, уверяю тебя, – я не о любви, отнюдь, не о желании, это... это...

– И ты вернулся, чтобы мне это сообщить, Авелий?

Слова эти ничего как будто не значили, но голос звал. Безумие и забытье таковы – в них впадают. Варвара чуть склонила голову и приглушённо произнесла:

– Ох ладно, Авелий, если хочешь – не уходи...

И вещи снова возникли вокруг них. Авелий осмелел. Что-то в нём смеялось, но он не смеялся. Он взглянул на узкое ложе, устроенное на упаковочных ящиках, и Варвара с той же мыслью сказала:

– Постелю на полу.

Они проделали это вместе, подталкивая друг друга почти как расшалившиеся дети. На газеты, расстелили старые шубы, кусок ковра, зимние одёжки из сундука в коридоре... В постели он показался женщине крупнее, кожа у него была грубой, движения неожиданными, сдержанными, но тяжёлыми и уверенными с оттенком нежности, в которой таилась неистовая сила.

– Не разбей меня, – шептала Варвара, подбирая и не находя для него ласковое слово. Тёплая волна забрала её со стуком зубов. Но заснули они только после того, как досыта наговорились о стольких вещах, что позднее им казалось, будто они старались вычерпать до дна и смешать свои жизни. Столько они никогда не вспомнят и всегда будут снова возвращаться к тому, чем до последней мучительной и разоблачительной крошки обменялись из уст в уста, сплетая тела и ищущие руки. Так буря разгоняет в небе тучи, унося их изменчивыми хлопьями, минутную форму которых с трудом можно уловить. Наконец она затихла на его плече, разгорячённая, маленькая, шелковистая и сияющая. На самом пороге сна под ресницей у неё возникла тёплая капелька, скатилась по щеке к уголку губ, и она слизнула её кончиком языка, и была эта капля солёной, как морская вода, как мужская кожа, солёной и живительной.

...На заре Авелий на миг вынырнул из небытия. Комнатушка была полна несказанной ночной ещё синевы. Рядом были те же тёмные волосы, тот же удивительный профиль, то же тихое дыхание. Тяжкие тучи окутывали сонную землю, её холмы, ущелья и потоки, селенья с квадратными башнями, стога на склонах, руины замка Тамары, шумящие леса, где по мягким тропам друг за дружкой скакали лани. Тучи разошлись, и тогда лани отразились в реке, а в вышине образовались лоскутья абсолютной лазури, и сквозь них вознёс свои оттенённые розовым ледники белый зуб Казбека... Созерцая вершину, Авелий не отводил глаз от светлого азиатского лика спящей женщины. Только ты, верный мой товарищ, дорогая... «А может, это любовь?» – пронзительно ясно подумалось ему. Вершина просияла, отсвет ледников и лазури ласково тронули Варварин профиль, лоб без единой морщинки, плотно сжатый рот, детский подбородок. И опять сомкнулись тучи вокруг высокой горы, золотые блёстки устремились по жилам мужчины куда-то туда, в багровую тьму; он снова уснул, тесно прильнув к нежному телу, которое будто продолжало отдаваться и во сне.

Дело о дюжине сотен тетрадей разразилось одновременно с делом о семи фунтах хлеба. В кооперативы хлеб приходил в накрытых деревянными крышками коробах. Пока его, считая и взвешивая каждую буханку, разгружали, милиционер не давал народу подойти. Для скорости допускалась помощь какой-нибудь давно выросшей из своего старого зимнего пальтишка девушки с прибранными волосами и нескольких почестнее с лица парней: возчик бросал буханку, и она из рук в руки переходила до весов на прилавке магазина, где царил вечный полумрак. Варвара сверяла вес, завмаг по каждой булке делал пометку в книжке. Он слюнявил кончиком языка химический карандаш, так что и зубы, и губы его были чернильными. Над сморщенным лбом его возвышался бритый череп. Весь он являл собой напряжённое внимание, похожее на сдерживаемую злость. Его глазки норовили уследить за каждой рукой, пощупать весы, расстроить козни цифр, но не успевали, и это натягивало на его розовое лицо гримасу недовольства. Из двух его предшественников в этой лавке, оба, как и он, были рекомендованы райкомом партии (ибо, согласно указаниям вождя, ответственные посты надлежало доверять рабочим из её рядов), один получил три года принудработ, другой ожидал суда в старой тюрьме, в шести сотнях метров отсюда. Он был вальщиком леса, передовым бригадиром ударной бригады, членом партии уже два года, бывшим рыбаком и сыном рыбака; когда ему приходилось паковать мешок – точнее, хлебный мешок для особого отсека тюрьмы, где сидели коммунисты-функционеры – его гримасу размягчала невольная улыбка, пока он завязывал бечёвку со сноровкой ткача. Если узел сделан им, оставалось только вспарывать мешок, иначе оттуда невозможно было вынуть ни кусочка! Он чётко расписался в накладной – Мёрзлый Петр, передал её возчику, дал указание инвалиду Гавриле, который сдерживал в дверях толпу: «Стой у дверей, не давай входить больше, чем по десять человек враз...», сделал знак Варваре: ну, начали?

И снова, в сороковой раз за сто дней смотрела Варвара, как входит нищета. В узкой двери давились, плющились и жались вдоль двух зарешечённых окон тени. Приклеившись друг к другу, первые входили бесформенным живым комом, из которого торчали согбенные головы всё тех же, стоявших здесь с самой зари старух, горбатых, параличных, узловатых в своих однообразных шалях и чёрных головных платках, с признаками плесени, туберкулеза, бесконечного голода, отчаянной хитрости на лицах, с хитрыми слезящимися глазами, окружёнными ниточкой розовой кожи, страшно убогих, но отнюдь не нищенствующих, жадных, но покорных, наполовину прикрывающих веки, чтобы получше проследить за весами, выбрасывающих время от времени из похожих на кротовые норы ртов сухие слова: «Гражданка, вы мне недовесили!» В таких случаях Варвара взвешивала заново, вес сходился, ссыльная с голодной обменивались враждебными взглядами. На каждую в полутьме, гомоне, кислом ржаном запахе по три сверки: надо вырезать серую карточку за соответствующий день и бросить её в ящик (чтобы вечером пересчитать их, не затеряв ни единого из этих квадратиков размером в сантиметр, каждый из которых означал фунт хлеба, норму на

одного, государственное добро, спасение одной души), не перепутав, с синей она или чёрной полосой, что указывает четыреста или шестьсот граммов следует отпустить; надо сосчитать мелочь и дать сдачу: четыреста – 44 копейки, шестьсот – 66 копеек, плюс детская норма – 22 копейки, одна за другой – стоп, негодная! – рваные, пахнущие рыбой, жёлтые рублевки; и, наконец, самое главное – вес. Резала Варвара с почти безошибочной точностью до нескольких граммов, но именно этих граммов ждали, приходилось подкладывать или обрезать довески, к которым мгновенно тянулись детские ручонки, детские глазёнки, жалобные и прожорливые глазёнки. Как они пробирались, откуда возникали эти вихрастые сопляки с кишачими живностью шевелюрами? Через каждые три четверти часа подходил Гаврила и беззлобно брал их за ворот или за космы: «Эй, зараза, прочь отсюда, кулацкое отродье», – но они выкручивались, увиливали и немедленно появлялись вновь среди юбок и шалей, их сухие голоса перекрывали все шумы, заунывно выпрашивая: кусочек хлебушка, бабушка, кусочек хлебушка, тётенька, дяденька! Беременные женщины выпячивали животы, чтобы пройти без очереди, за ними лезли другие с младенцами на руках, но одна из них вызвала перебранку:

– Давным-давно пора от груди отнять, могла бы его и дома оставить, нарочно берёт, она права не имеет...

Чей-то голос зло поддакнул:

– Эт-то ребёнок, его уж видали. Не ейный, займы взяла!

– Как! Это не мой! – мать возмущённо поперхнулась. – Кто сказал?

Вызова никто не принял, казалось, инцидент упал вместе с вырезанными из хлебных карточек серыми номерами в картонную коробку, где всякая приобщённая жизнь оставляла одинаковый бюрократический осадок. Возникшую в сваре тишину бестолково прорвал голос матери:

– Его я делала сама, это моё голодное семя, слышишь, ведьма, чтоб твоя глотка сгнила, как жопа дохлой крысы...

В три часа пополудни Мёрзлый и Варвара изумлённо переглянулись. В лавке оставалось ещё десятка полтора женщин, недобро обшаривающих всё буравящими взглядами. Хлебный лоток зиял пустотой, перед Варварой оставалась лишь кучка обрезков, из которых можно было набрать самое большее фунта полтора, отоварить две карточки, успокоить двоих.

– Однако всё сходилось, – хрипло сказал Мёрзлый. Варвара отозвалась:

– И мне кажется... Считали хорошо... но семи фунтов хлеба не хватает.

Перед пустыми полками понурым голосом объяснялся заведующий.

– Гражданки, больше нету. Я тут ни при чем. Всё, что привезли, я отпустил. В другой раз пойдёте вне очереди.

В следующий раз? Когда? А что есть сегодня вечером? А завтра? Хлеб поступал с перебоями всего два раза в неделю. Слитная стайка белых, чёрных и красных платков, шалей, худых, прямых или дряхлых, сутулых, навсегда склонённых плеч дрогнула в один момент на месте, как если бы была готова вот-вот разразиться плачем, криками, бессмысленными жестами или бессильно рухнуть на пол кучей тряпья. Всё вылилось в робких причитаниях, и те казались напрасными. Эх, когда она кончится, такая жизнь! Хлебных воров, вот кого надо бы расстреливать...

– Где были твои глаза, Мёрзлый, враг народа, когда тебя упекут, наконец, в тюрьму, чтобы научить работать!

– Молчи, Клавдия, пустое дело – стонать да глотку драть! Это кончится вместе с пятилетками, когда все мы будем на том свете!

Мёрзлый взвился:

– Кончай контрреволюционную агитацию, гражданка! Будьте сознательнее!

Он выскочил из-за прилавка и пошёл на женщин. Стайка, волнуясь, потекла к двери, выбралась наружу, немного потопталась там, медленно распалась в холодном свете дня. Мёрзлый закрыл ставни, наложил железные, вполне бесполезные засовы на двойные двери... Он немедленно объяснится по этому поводу в отделе снабжения. А потом, пусть меня арестуют, если угодно, дерьмо! Питаться я, лесоруб, в лагерях буду не хуже, оттуда выходят вроде бы даже с деньгами... (Но у него были дети.) Сложные сопоставления, обобщая все явные и малозаметные факты, дополненные интуицией и даже невероятно точной телепатией, вдруг пролили свет в его мозгу: возчик! Возчик вошёл с последней буханкой в руках, он очень громко говорил, куртка у него была расстёгнута, а хлеб, он его и унёс, падла, под полой своей куртки. Тут ничего не докажешь и всё-таки уверенность породила совершенно физическую потребность в убийстве. Погоди, сволочь!

Мёрзлый разыскал возчика в самой бедной из городских пивнушек без названия, той, что на углу переулка Цареубийства в последних, глядящих в пространство домах. Дряхлая крыша, серый фасад, почерневшие от копоти пожара наличники, зелёная, подвешенная набекрень вывеска, кричащая «ПИВО». С низкого потолка свисала керосиновая лампа. За столами пили и курили, невзирая на вопли, заглушающие их собственный голос, мужчины в кепках.

– Пошли, Ваня, – спокойно сказал Мёрзлый навалившемуся на стол возчику, простоволосому, с крепкой рыжей головой и расстёгнутым воротом куртки. – Пошли, есть дело...

Возчик допил кружку, расплатился, и они вышли.

– Ч'м дело? – А знал прекрасно.

Они обошли вокруг дома. Конец города. Закат полз по каменистой, ровной, докуда хватало глаз, почве, угасая с каждой секундой. Мёрзлый встал и со спокойствием забойщика скота или судьи взял возчика за грудки.

– Ч'м дело? Вор, сволочь, падла, сукин сын, ты смеешь спрашивать? Снимай куртку, щас я те все зубы повыбиваю.

– Бойся, – спокойно сказал рыжий, отступая на шаг, чтобы стянуть куртку, – может, как раз я сделаю щас из твоей морды компот, разьелся за счёт народа, буржуйская жопа, жрёшь чужой хлеб, сучий сын...

Бок о бок они ещё немного отошли от дома, прощупывая почву, чтобы там не оказалось ни битых бутылок, ни ям, ни больших камней – и вдруг бросились друг на друга, сцепились, сплелись дико, в бормотании, прерывавшем их жаркое дыхание, повторялись одни и те же ругательства: сука, блядь, сука, блядь, сука... Глухо бились кулаки, собирая кожу, под которой перекачивались мускулы, в горячке никто не чувствовал боли. Возчик попытался высвободить правую руку, чтобы достать из сапога финку: «нож тебе в пузо, сукин сын, ах, теперь не поворуюшь, ах, ребятишкам есть надо, не подыхать же им, пес!» Не теряя соображения в схватке, Мёрзлый с поразительной пронизательностью следил за этой готовой на убийство рукой, поймал её на лету, она вцепилась ему в лицо, целя пальцами в глаза, и он укусил её так сильно, что его челюсти, прокусив кожу, сомкнулись. В голову ударил вкус земли, крови, табака, лошадиного пота, и он задохнулся. Тут возчик изловчился с левой дать ему в пах. От двойной боли они расцепились. Возчик оседал. Лежачего не бьют, но того, кто падает, можно бить, пока он не коснулся земли. Мёрзлый направил свой кованый сапог ему в губы, с таким удовольствием услышав, как толчёным стеклом хрястнули разбитые зубы, что его боль в паху превратилась во что-то красное и тёплое... Всё произошло очень быстро, без какого-либо реального смысла. Ночной ветер привел избитого в чувство. Шагая всё-таки твёрже, чем пьяные, вернулся он в свою лачугу. Его жена Аня приложила к

ранам мазь, принесённую знающей целебные составы старухой-соседкой. К маленьким ранам хорошо приложить паутину. Помёт и моча (особенно моча беременных женщин) имеют ценные целебные свойства. Доставленные с моря водоросли, если их высушить, а потом размочить, хороши для десен. Но главное...

– Аня, душенька, – внушала старуха, – не волнуйся... Если луна взойдёт вовремя, твой муж, голубушка, будет на ногах. Я знаю волшебное слово, но его надо говорить в полночь при свете луны, и чтоб ни тучки, ни марева. Дай мне прядку его волос.

Возчик застонал. В жёлтом свете свечи его раздутое и покрытое фиолетовыми пятнами лицо было как у утопленника. Аня смотрела на него с любовью, ведь маленькие спали наевшись, сама была не голодна и ещё на два дня хватит хлеба – она понимала этому цену. Только бы у неё не забрали мужика, не отправили Бог знает куда, в эти лагеря, откуда должны возвращаться через два-три года, но возвращаются ли вообще? Боже мой, спаси и помилуй. Двумя руками Аня подняла большую, истерзанную голову, чтобы старуха могла влить водки в распухший рот. Алкоголь страшно ожёг раны, но согрел могучее тело. Возчик открыл синие глаза, нежно посмотрел на женщин и снова забормотал:

– Сука, блядь, сукин сын, кишки бы тебе повыпускать...

Всё обошлось. С повязками на голове и на руке он правил свою повозку по утренней заре на лесопилку, поскольку перед самой полночью лунный свет всё-таки засиял.

Вызванную в ГПУ Варвару принял Федосенко, походивший за своим столом на переодетого в форму госбезопасности Будду. Череп его блистал. «Садитесь!» Продолжая листать бумаги, Будда небрежно, не поднимая головы, глянул на неё исподлобья:

– Что за история с украденным в вашем магазине хлебом?

– Ничего об этом не знаю. Одно могу сказать, заведующий – не вор.

Откинувшись на спинку кресла, Будда сделался менее внушительен, но более толст: прожорливый и мерзкий самец. На груди крест-накрест ремни, над левым карманом гимнастёрки новенький значок. Неуловимый нажим.

– Знаю, гражданка, что ваш заведующий не вор.

Варвара уловила оскорбительный намёк. Ноздри её сжались, как при слишком сильном зловонии. Внимание! Осторожно! Ни одного лишнего слова.

– Гражданин начальник, я коммунистка с гражданской войны, восемнадцати лет была ранена на Оренбургском фронте. Надеюсь, этого достаточно.

– К моему большому сожалению, нет.

– Я вам больше ничего не скажу... Будьте любезны, подпишите...

Варвара протянула Будде свой пропуск, маленький прямоугольник зелёной бумаги, на котором при входе отмечалось точное время прибытия – чтобы выйти из ГПУ, надо было сдать его с отметкой часовому. Этот жест как бы говорил: арестуйте меня, если задумали, и я покажу вам, как стащила хлеб. Будда расписался, поставил печать.

– Следствие пойдёт своим чередом, гражданка.

Из соседнего кабинета, от заместителя вышел Костров с раздосадованным, пожелтевшим лицом. Нет, плохи дела. Сердце, Варвара Платоновна. И потом, чего им от меня надо? Помоему, они начинают шить дело о саботаже из этой дурацкой истории с дюжиной сотен тетрадей...

...Костров работал в отделе просвещения исполкома. Как-то утром начальник поручил ему получить дюжину сотен школьных тетрадей, обещанных Москвой с осени. Заметное событие. Треть оставить в резерве, остальное сразу распределить по школам. Получалось почти по две трети тетрадки на школьника в учебном году. Костров составил ведомость и лично присутствовал при распределении пачек, не догадавшись вскрыть хотя бы одну. Они пришли из центра в упаковке государственной бумажной фабрики «Факел». Прошло три дня. На рынке, в толпе торговцев старьем, среди гадалок и зевак Костров заметил маленьких продавцов тетрадей, но они знали его походку, его манеру опираться на трость, его вид стареющего, страдающего желтухой офицера. При его приближении они разбежались. «Спекулянты смеются надо мной, – подумал Костров, – и правильно делают». Над головами виднелось прозрачное перламутровое небо. Он вернулся в учреждение, где ему нечего было делать, по крайней мере, ничего полезного: проект реорганизации школ к следующему году был, очевидно, лишь благоглупостью. На будущий год нынешнего руководителя просвещения назначат в другое место или посадят в тюрьму. Наследник постарается избавиться от устаревших ещё до рождения выдумок. Он выдвинет новые проекты, соответствующие новым директивам. На сей раз руководитель просвещения, раздраженно дымя, ждал Кострова в маленькой натопленной комнате на своём, обычно пустующем месте... Он бросил на него странно гневный взгляд и, приподняв тыльной стороной ладони козырек фуражки, вымолвил:

– Удружили вы мне, Михаил Иванович! Райком партии разносит. ГПУ взялось за дело.

– Какое дело?

– Дюжина сотен тетрадей, дьявол их побери вместе с вами. Вы их осматривали?

– Нет...

– Ну вот, взгляните-ка.

Извлечённая одним мановением из портфеля начальника тоненькая тетрадка шлепнулась на стол. Пожалуйста, на розовой обложке выделялась овальная рамка, а в ней портрет Алексея Ивановича Рыкова, бывшего председателя Совета Народных Комиссаров, ныне наркомпочтеля, бывшего члена Политбюро, члена Центрального Комитета, лидера правых, от чего он упорно отрекся на съездах, друга Михаила Ивановича Томского, бывшего лидера профсоюзов, отрекшегося от него на всех трибунах (и всё это – кто бы мог усомниться? – чтобы сохранить преданность ему), друга Николая Ивановича Бухарина, редактора «Известий», который тоже отрёкся от него, отрёкся от Томского, отрёкся от своих собственных прежних взглядов, но наверняка, чтобы сохранить им преданность в тайниках своей души... На обороте обложки выдержки из Бухарина и Рыкова, напоминающие о миссии советской школы, о величии социалистической культуры, о мудрости Ленина и Энгельса. На последней странице таблица умножения. У начальника было рябое лицо, курносый нос, бесцветные, снедаемые беспокойством глазки. («За это меня могут выгнать из партии, а тогда...») Костров любезно, подавляя безумное желание расхохотаться, улыбнулся ему:

– Уф, а я боялся обнаружить Бухарина на четвёртой странице...

Его дурашливый взгляд остановился как раз в том месте таблицы Пифагора, где скромно горели цифры: $7 \times 7 = 94$. «Вот видите, товарищ Дрябкин...» Но тот сразу не понял, он не знал точно, сколько будет семью семь. Считал он медленно: трижды семь – двадцать один, дважды двадцать один – сорок два, да единожды семь – сорок девять... 94? Михаил Иванович сказал саркастическим тоном:

– Типичный саботаж. Но к нам это не относится. Фабрика шлёт нам тетради уже четыре года... Что же касается саботажа в обучении математике, я немедленно составлю докладную, которой вы, товарищ Дрябкин, дадите ход. Нам надо предпринять наступление, понимаете?

В конечном счёте, Дрябкин совершенно перестал что-либо соображать, кроме того, что дела плохи. Кострова вызвали по телефону в ГПУ, принял его замначальника, мозгляк в очочках, с бритым черепом, туго стянутый гимнастёркой и ремнями. Явно подделываясь под Федосенко, Мозгляк начал издали:

– Вы троцкист, Костров?

–... (Четверть секунды замешательства) Нет...

– Любопытно, а встречаетесь только с троцкистами...

–... Я подчинился ЦК 18 апреля.

–... (Четверть секунды замешательства.) Да... Вы никогда не принадлежали к правому уклону?

– Нет.

– Как же получилось, что вы потворствуете нелегальной пропаганде правых? Вы, Костров, кажется, не двуличны, а трёхличны? Предупреждаю вас, это крайне опасно.

Костров объяснил, что за эту дюжину сотен тетрадей в упаковке ответственность несёт экспедиция центральной бумажной фабрики «Факел», циркуляр областного управления просвещения предписывал истребовать телеграфом поставку тетрадей и незамедлительно распределить их по школам под угрозой ответственности за срыв годового учебного плана... Костров объяснял и его обуревало желание рассмеяться, вся эта история была по-детски глупой, но вскоре в нём возник страх. Страх шевельнулся под ложечкой, лёгким, удушливым комом поднялся к большому сердцу, подкатился к горлу, сковал речь, поднимался он с током крови, прошёл с трудом вяжущий слова рот, коснулся лба, глаз, снял с них невидимую повязку, и он прозрел.

Он увидел, что у Мозгляка странная голова, живого и мертвеца одновременно, тёмные дыры вместо глаз, тонкий, окаймлённый чёрным рот, пустая и белая грудная клетка скелета под гимнастёркой.

Он увидел, как Мозгляк поднялся, ухмыляясь, сделал ему знак и повёл разделёнными на прямоугольники коридорами сквозь густеющую темноту к цементным лестницам, серым подземным перекрёсткам, странным дверям в стенах залитой мглистым электрическим светом декорации.

Он видел неровный шаг Мозгляка впереди, хромавшего попеременно то на правую, то на левую ногу и через каждые три шага, не замедляя движения, оборачивающегося, чтобы устремить на него уже чёрные дыры своих орбит.

За этим Мозгляком в повседневной форме с револьвером на боку следовали другие мозгляки, таким же хромающим шагом ведущие товарищей, как и он, нетвёрдо стоящих на ногах: Варвару, Родиона, Рыжика с белыми, торчащими, как языки неподвижного пламени, волосами, – других.

Он увидел чёрную линейку, прижимавшую бумаги перед Мозгляком замначальника ГПУ и даже прочел наоборот машинописный текст:

Протокол допроса...

Мозгляк сказал:

– Ваша версия, видимо, правдоподобна, но у всех саботажников правдоподобные версии... В моих глазах важно то, что вы с нами. Прежде из-за ваших связей у меня были сомнения. Не меняйте в них ничего, Михаил Иванович, мы к этому ещё вернемся. Я вполне склонен доверять вам. Как ваше самочувствие вообще? Сердце? Дело о дюжине сотен тетрадей, как вы сами понимаете, весьма досадно. ЦК и Особое Совещание коллегии ОГПУ недавно

прислали нам циркуляры, предписывающие наивысшую бдительность в борьбе с коварной пропагандой правых... и, разумеется, левых, Костров... Конечно, я постараюсь это уладить... Однако возвращаться в отдел просвещения не трудитесь, вы уволены, понимаете... Поищите себе что-нибудь другое.

– Место ночного сторожа, например?

Мозгляк, казалось, совсем не заметил иронии:

– Нет, ночные сторожа вооружены, а вы, осуждённый по 58-й статье, не можете получить разрешения на ношение оружия...

Совершенно прямой, но с ощущением покачивания Костров вышел за дверь. «Они тянут сети, это ясно, я погиб – они тянут сети...» И тут волшебным образом предстали перед ним Варварины глаза, в которых с некоторых пор плавали капельки света, от прикосновения благодати лицо её, гладкое, благодаря монгольским предкам, похорошело (но это был лишь отблеск другого, известного только Авелию, просветлённого, улыбчивого, из тех её часов лица...). На улице Костров с какой-то признательностью взял её под руку, как бы говоря: «Благодарю вас за эти ясные глаза, тонкую шею, за то, что вы несёте в себе не знаю какую радость». И пробормотал:

– Какая хорошая погода, Варвара Платоновна. Погружённая целиком в своё тайное счастье, но не потерявшая рассудка, она отозвалась тем, что было на уме у обоих:

– У них такой вид, будто они роют нам западню. Надо быть готовыми.

В одиночестве у окна Костров сам с собой разыгрывал знаменитые шахматные партии. Капабланка против Ласкера: Капабласкер – вторил он поэту. Снаружи на подоконнике, прямо напротив окна, уселась ворона и долго рассматривала игрока своим маленьким круглым глазом, чёрной, окружённой тонким коралловым ободком жемчужиной. Эта партия никогда не кончится... По ступенькам крыльца протопал Родион.

– Объясни мне, – попросил Родион, – разницу между патриархальным хозяйством и феодальным строем.

Весь внимание, он облокотился, положив подбородок на руку. Между ними – шахматная доска. Костров встрепнулся, совсем другой Костров, его восковой оттенок и печально одеревеневшие черты вновь обрели видимость молодости. Он говорил лучше, чем если бы читал лекцию, он говорил как уже давно не мыслил, устав от самого себя, отказавшись от исканий... Между своими познаниями и жизнью он обнаружил единственное несоответствие: сейчас для внимательного молодого товарища он должен говорить обо всём в живых выражениях... Родион неумолимо расспрашивал: «Какова связь между психологией и экономикой? А искусством, а любовью...» Костров развивал обширные отступления, вскакивал, чтобы продекламировать пушкинскую строфу, рассказать о великой любви Лассалья, определить лассальянский тип революционера, воспринявшего научный социализм, но оставшегося индивидуалистом и романтиком, отмеченного своим буржуазным происхождением... И вдруг, озарённый отвагой, он, выводя белого коня из-под удара чёрного слона, сделал на шахматной доске экстравагантный ход, перевернувший вверх дном классическую партию как глубинный сейсмический толчок. Смотри, Родион! Нет больше терзающегося математическими комбинациями гениального дурака Капабласкера: он сошёл с ума, он выигрывает с обеих сторон одновременно – такого мир не видел, и всё из-за тебя! Сосредоточенный Родион ловил всё восхищёнными глазами. Но искусство, Костров, искусство?

– Искусство черпает свои истоки в бессознательном повторении трудовых движений... По поводу этнографических наблюдений Моргана Плеханов сказал: «Танцы дикарей

напоминают охоту и войну, которые тоже являются трудом...» (Это были заученные по книгам истины, точные, как партия двух классических партнеров). Произведение искусства, Родионич, начинается с жеста, к которому прибегают, чтобы передать эмоцию, а мысль начинается с эмоции. Перед тобой пейзаж, рядом – некто, ты простираешь руку и говоришь «смотри», ты хочешь передать своё видение, и в этом – начало всего: ты художник, поэт, романист, скульптор, драматург, ты – человек, который пробивает границы, ты видишь, ибо ты не один на свете... Прекраснейший пейзаж печалит, если его смотреть в одиночку: значит, надо думать о людях...

– Я о них думаю всегда, – тихо говорит Родион. – Мне даже не надо специально о них думать, они всегда там... Те, ради которых стоит жить, разумеется.

Беседа их проходила в узкой, чисто ухоженной комнатке с перегородками, выкрашенными в цвет морской волны. Костров квартировал у рыбака из секты староверов-беспоповцев. В оконной раме белые берёзы, угол дома из брёвен пепельного цвета, краешек неба. Костров не касался подвешенных в углу над его изголовьем образов: Суздальская богоматерь с младенцем, Калинин, вырезанный из журнала, наклеенный на красную бумагу и производящий впечатление самого хитрого из всех святых. Нагруженный мыслями, Родион вышел, повторяя в уме и тут же путая формулы, извлекая тем не менее из магмы слов и идей необъяснимую уверенность, полагая, что лучше узнал суть искусства, любви, аграрной реформы, империализма, и действительно лучше понимая, что собой представляют живой человек, Гракхи, крестьянство периода крестьянской войны 1525 года, Лассаль, бернштейнианский ревизионизм, победа советской бюрократии... На следующее утро он получше умылся с берега, тут же у Чёрной съел свою корку ржаного хлеба с луком и, присев на солнышке в тёплой каменной ложбинке, предался размышлениям. В нём зрели великие решения, «ибо ошибаются товарищи, которые не осмеливаются мыслить... Эпоха требует от нас мужества судить. Что делаем мы в тюрьмах? Кто спасёт людей, если не пролетариат? Кого ждем мы, если пролетариат всего ждёт от нас?»

Родион по буковке расшифровал тезисы меньшинства левых коммунистов Верхнеуральской тюрьмы, скопированные Ивановым в КЛОНе, Лагере особого назначения на Кольском полуострове. Знал Родион и резюме «Бюллетеня оппозиции», восстановленное тем же Ивановым по воображаемой записной книжке инженера Боткина. Именно Родион принёс Кострову эти тайные, но ослепительные отблески. А Михаил Иванович Костров, профессор истмата, автор трудов об отношениях собственности в Киевской Руси, об аграрном вопросе в Китайской революции (Шаньси, Хубэй), оставив схватившуюся с чёрным ферзем белую туру под ударом чёрной пешки, белую туру, загнанную чёрным конем в безвыходное положение на доске, положил подбородок на руку и слушал Родиона, сверкающего вытаращенными глазами Родиона, который вставал, расхаживал от стенки к стенке, прислонялся к изразцам холодной печки и, помогая себе энергичными жестами, излагал:

– Прекратить разорительную коллективизацию, сохранить лишь обеспеченные достаточной технической базой высокопроизводительные колхозы, восстановить товарное обращение, отказаться от гигантизма в индустриализации... Ах, да! Рассматривать рабочую силу как ценность, равную оборудованию... Не допускать выхода её из строя от переутомления и недоедания...

– В итоге, – задумчиво произнёс Костров, – Верхнеуральское меньшинство не доводит свою аргументацию до конца: не осмеливается на вывод, что старая, бюрократизировавшаяся партия кончилась для революции, пришёл момент подумать, как всё начать сначала...

Родион едва удержался от крика: «А я осмеливаюсь!»

– Всё верно, – выговорил он вслух, тяжело и проворно, как медведь в яме, шагая по комнате, – слушай, Михаил Иванович, пора понять...

Он раскинул свои плотные, мозолистые, короткопалые руки, как бы обнимая ими всю очевидность:

–...*Они* не могут оставить нас жить! Мы – новая партия, даже если и подумать об этом не смеем. *Они* знают это лучше нас. *Они* вынуждены гноить нас в тюрьмах. А когда они окончательно разберутся в том, что делают, они примутся нас расстреливать. Всех, говорю тебе. Будет чёрный террор. Как позволить нам жить? Послушай, Михаил Иванович, мне тут рабочие с кожзавода встретились. Им полтора месяца не платят... Молока за вредность они сроду не видывали. Работают три выходных из пяти в этом месяце, потому что горит план. Знаешь, что ответил парторг, когда ему сказали, что дальше так невозможно. Он сказал: «Лодырям найдётся место в исправительно-трудовых бригадах». Слыхал такое?

К исходу утомительного часа мужество угасло в душе Кострова. Он лёг на кровать, протянул назад руку, сжав пальцами холодное железо спинки.

– Дай папироску, Родион. Не спеши с выводами. Партия...

– Какая партия? Ихняя? Наша?

Костров с усталым жестом пустил в потолок несколько клубов серого дыма. Плохое сердце.

– Родион, мы почти все без работы, вот что важно. В ГПУ я встретил Варвару: её обвиняют в краже хлеба. Меня – в саботаже... Должно быть, они получили инструкцию накануне съезда завести на нас дела...

Между ними на краю стола шахматная доска, внезапно Родион двигает чёрную пешку. Летит белая тура. Между ними миры: у каждого свой. Пять недель нет писем от Ганны, теперь это молчание становилось для Кострова зловещим предзнаменованием. *Они* задерживают переписку. На чёрном коне скакал Мозгляк с его ввалившимися орбитами, головой полумертвеца и ремнями вокруг пустой грудной клетки. «Плохи дела, плохи». Костров был полон предчувствий. Родион перестал думать о нём, о шахматах, о тезисах, Родион чувял приближение страданий, стенаний, испытаний, надежд, риска – пора, брат, пора...

Вечером у Елькина собралась группа. Присев в ограде, Галя чистила землёй кастрюлю и следила за подступами к дому. Она то напевала, то озабоченно поджимала губы. Что они там обсуждают с таким возбуждением в глазах? Когда голоса мужчин становятся звонкими, а взгляды сверкают, такое никогда не доводит до добра... Это как в любви: кто любит без памяти – вдруг срывается, хватается нож и уносится в ночь по чёрной дороге. Старухи потом судачат: «Больно много счастья в жизни захотел, загордился, забуянил, раз-два – чёрт его и сожрал живьем... Давай, копи слезы, такая тебе планида». Горько усмехаясь, Галя мысленно отвечала им: «Эх, ведьмы, как вы жалеете о том времечке, когда сами любили!» Димитрий – «мой» – любил отнюдь не без памяти, а вот она как раз до беспамятства, не смея об этом сказать и даже пытаясь позадирать его: «Право, не знаю, люблю ли я тебя, ведь я дала себе волю от скуки...» Всё её лицо кричало об обратном, и, сознавая это, она была довольна. Любя без памяти, она всё-таки никогда не уйдет по чёрной дороге, как бездомная кошка; ты-то, Митя, уйдешь, когда тебя позовут неведомо зачем, и земля опустеет... Глотая слезы, она ожесточенно натирала кастрюлю. Надо бы жить тише воды, ниже травы. Галя подалась в сени и прислушалась. Непонятные вещи бодро излагал Елькин: мировой урожай, тезисы Молотова, Лига Наций, Интернационал, Алеанца Обрера...

Пятерка обсуждала вести. Рыжик председательствовал, Варвара разливала чай, Авелий рисовал птичек на сложенной вчетверо газете, Родион несколько отстранённо сидел на кровати, обхватив сцепленными руками колено, его подмывало сказать нечто серьёзное, надо было сказать, но язык не поворачивался. Была потребность повиниться, не осуждая себя до конца, вопреки всем считая себя правым, да, правым, ну и виноватым, конечно. Стиснутые челюсти его разжались сами собой:

– Прошу слова.

Ни на кого не глядя, внятно, Родион заговорил, Варвара озадаченно поставила чайник на газетные вырезки, Авелий чёрной чертой перечеркнул распротёртые крылья, Рыжик окаменел, Елькин с недобрым видом закачался на стуле...

– Считаю, что я совершил ошибку. Думаю, поступил я правильно, но тем не менее это ошибка. Я доверяю ему, но поступить так не имел права, я знаю, что нарушил дисциплину группы. Заранее подчиняюсь вашему решению, я был не прав, но знаю, что я был прав. Поймите. Вот.

– Что ты нам такое рассказываешь, дурак? – взвился Елькин. – Объясни свою ахинею. Что ты наделал?

Родион понял, что главного, застрявшего где-то в горле, он не сказал. Думаешь сказать и не говоришь, хочешь сказать и не можешь... Должен. Внятно:

– Я сказал о новостях Кострову, он в изоляции, но он наш, вы несправедливы к нему. Я сказал только о содержании. Я не прав, но не жалею об этом, только с точки зрения дисциплины...

– *Так*, – глухо вымолвил Рыжик, – *так*... – Это единственное слово вызвало в пяти головах что-то тёмное, чему уже нельзя было противостоять. Родион понял. Лодка опрокидывается, ты в пучине, во рту пена, удушье. Минуту назад с небес улыбалась вечность, но это мгновение ушло навсегда. Сдохни. Момент был тяжёлый. Варвара начала бесполезную фразу, которой никто не услышал. Рыжик беспощадно прикидывал последствия...

– Когда ты с ним говорил, Родион?

– Семь дней назад.

Елькин продолжал раскачиваться на стуле, насвистывая сквозь зубы... Стул с грохотом упал, из перевернутого стакана пролился на газеты чай, поднимаясь, Елькин отпустил грубое ругательство. Он ударил Родиона прямо в лицо, и Родион, уткнув локти в колени и закрывшись руками, с трудом сохранил равновесие. С таким же сопеньем, тем же жестом закрывая лицо, рядом на кровать повалился Елькин. Только рука немного в крови.

– *Так*, – снова сказал Рыжик, – *так*. Ты, Елькин, повёл себя непростительно. Как скотина... Разногласий по поводу случившегося у нас нет. О нарушении дисциплины, которое допустил Родион, группа выскажется позднее. Полагаю, что больше нам нечего делать. Покажи лицо, Родион. Тут ты, по крайней мере, хорошо держался... С сегодняшнего вечера пусть каждый примет меры предосторожности: ни одной бумажки в беспорядке, ладно?

Родион вышел в прихожую умыться. Там его встретил растерянный взгляд Гали.

– Ничего, Галя, мы немного потолкались... – Побледневшие губы силились улыбнуться, чтобы успокоить её.

– Иди сюда, Родион. Вот холодная вода. Она подержала ему тазик. Медленно с грустной миной он вытерся.

– Что случилось, Родион?

– Ничего, милая... Полночь, в веке полночь.

Между тем он казался не пьяным.

Почти с каждым шагом Галя чувствовала, как у Елькина, тянувшего её за собой, по руке пробегает дрожь. Тогда она, не поворачивая головы, искоса бросала взгляд на Димитрия, угадывая его мучительное смятение, отвращение к самому себе, гнусный сдавленный гнев.

Они шли берегом, почти у самой воды. Ещё высокое солнце, как золотой шар, висело над лесом на том берегу. Скалы были пышно расцвечены им. Галя спросила:

– Почему ты... (слово на секунду задержалось на её губах) почему такой черствый, Дмитрий?

– Почему, Галя? А разве можно иначе? Мужчиной надо быть, а не ремком. Ремков хватает без меня, разве не так? Надо твёрдо взять себя в руки и крепко держать, что бы ни произошло. И не шадить других. Только так можно и сгодиться на что-нибудь. Понимаешь ли ты?

Нежность он вложил только в убедительную твёрдость голоса, приглушённую, беспредельную нежность в конечное ты.

– Не знаю, – сказала она.

И после нескольких шагов в молчании добавила:

– Но если хочешь, возьми и меня в эти самые руки. Попробуй! Вода, север, простор – и шагающая в ногу Галя, прильнувшая к нему, высокая и гибкая...

– Ты радость моя, Галя. Мой папоротник милый. Однажды под Батумом – солнечный край на берегу голубого моря – я вышел после ливня, шагал по красной глине, шагал с горечью в сердце, чесались кулаки, злился на весь мир. Это были уже не лучшие дни, я вышел из тюрьмы и увидел – папоротники. Мне показалось, что они в едином порыве хлынули из земли во время тропического дождя. Высокие и гибкие, как ты, Галя, папоротники рассыпались веером, тысячи маленьких совершенных листочков. Гордых, как ты, моя Галя. И, как ты, они, рождённые от солнца и земли, не знали о своём совершенстве. Я плевал на свою горечь, я понял, что люблю землю. Ты для меня – папоротник Севера, Галя. У тебя, Галя, совершенные ногти, совершенные зубы, совершенные соски грудей, звёздочки в зрачках – само совершенство. Люблю всё, когда касаюсь тебя, Галя. Эти чёрные воды, эти скудные поля, эти леса, скалы, зелёную и суровую землю, кишение людей на земле, где ещё не закончена наша борьба, я люблю людей, даже тех, которых ненавижу, всех, вплоть до самых ничтожных, вплоть до подонков, хотя раздавил бы их, как гадин; обожаю гадюк, Галя, потому что ты – моя радость. Понимаешь ли?

Ей были понятнее обнимавшие её руки, освещённые из глубины глаза.

– Нет, не понимаешь. Проста, как папоротники, и как они не можешь понимать слов. Ты – моя Галя, а понимать не можешь. И я не способен растолковать тебе. – Он ласково хохотнул. – Это было бы бесполезно.

— ...А я бы хотела, чтобы ты говорил со мной, Митя, может, я и не пойму, но послушаю. Попробуй.

Дмитрий обнял её, поцеловал в глаза, губы, шею, отвёл русую прядь, чтобы слегка тронуть губами ухо – но дрожь в руках не унималась. Где-то внутри его тайный голос внятно шептал: «Прощай, прощай, прощай, прощай...» Чёрные воды струились беззвучно, оставляя на камнях золотистую патину.

IV ДИРЕКТИВЫ

Очевидно, это было не заседание Политбюро, хотя главные действующие лица были представлены, не считая других сверх того; тем более это было не предварительное совещание у генерального секретаря, поскольку в таком случае встретились бы в малом зале с другой стороны коридора. Единственный портрет – портрет Карла Маркса, олимпийский и

тем не менее беспомощный, ибо он уже ничего не выражал; единственное цветное пятно – красное сукно на столе. Стены абстрактно серые...

Поставив локоть левой руки с трубкой на стол, генеральный секретарь сидел прямо под портретом, прищурился свои коричнево-жёлтые глаза; выражение несколько ироничное, меж бровей неглубокая вертикальная складка... На нём повседневный военный китель. Что он ещё приготовил накануне партконференции? Кем хочет сманеврировать: разбитыми левыми, чтобы на миг укрепить правых, или запутавшимися, отрекшимися от самих себя правыми, чтобы вернуть к себе своих собственных левых (левый центр, улавливаете?), которые начали бояться его?.. Кто станет объектом тяжеловесных намёков в его подобных тупому топору острогах? (Таковыми топорами не рубят – дробят.)

– Как дела, Иосиф Виссарионович? – сердечно поприветствовал армейский Вожак Клим.

– Идут, идут, – отозвался тот с дружеским и хитрым взглядом искоса. (Он рассматривал чубук своей трубки.) – Столько дураков на свете, старина. Трудно работать в таких условиях, не так ли? А как ты, брат?

Руководитель пропаганды, молодой человек с круглым, лишённым растительности лицом под бритым черепом, одетый по-буржуазному в серый костюм, который делал его похожим на американского дантиста, держал себя молчаливо, сугубо внимательно, ибо в любой момент мог последовать комментарий на его комментарий к речи вождя, опубликованный в газетах нынче утром и немедленно подвергнутый разносу по телефону. Глава госбезопасности, устраиваясь возле генерального секретаря, несколько отставил свой стул, то ли чтобы сложить поудобнее ноги, то ли чтобы продемонстрировать готовность стушеваться и подавать голос только в ответ на вопросы; в таких случаях особо убедительным, приглушённым голосом он сообщал что-нибудь крайне важное: «Я отвечаю за всё – С шестьюдесятью тысячами рабочих лагерей особого назначения это будет сделано за два месяца – Расстрелять четверых или пятерых, не более – Сведения почерпнуты из доклада Интеллидженс Сервис Короне...» Он был человеком среднего ума, бледноватым, седеющим с висков, с довольно-таки открытым лицом, большим лбом, печальным и задумчивым взглядом; маленькие усики щёткой над губой напоминали, что каждое утро он как любой другой бреется, как всякий испытывает, вероятно, влечение к женщинам, одним словом, он тоже живёт обычной жизнью. Он мог тихо, равнодушным тоном, отнюдь на этом не настаивая, сказать: «В конечном счёте, меня не существует. Я – седьмая мозговая извилина Центрального Комитета. Я – глаз и рука партии. Рука, которая ищет. Рука, способная лишить свободы. Рука, способная отравить. Рука с наганом на службе революции». И хотя он такого не говорил, поскольку не представлялось случая, это выражал весь его облик, вплоть до походки скромного служаки, который бдит днём и ночью, оставаясь лишь тенью подле великих, но тенью грозной для подчинённых, с которых он требует и за страх, и за совесть, тенью роковой для арестованных, судьбы которых он правит во имя светлого будущего...

Глава правительства, сверкая пенсне, хмурил скудные брови на суровом и грубом, чрезмерно крутолобом лице. Его шарообразный череп был прочно посажен на пристежной белый воротничок. Вальяжный надушенный дипломат, похожий на богатого антверпенского ювелира, на банкира с Сити, близкого, разумеется, к Ротшильдам, на банкира из чёрт-те-откуда, то ли возвышенного, милейшего, утончённого ценителя искусства, то ли отвратительно эгоистичного, сонного в своей компетентности с крохотной свечкой духовности, затепленной перед сейфом; вальяжный дипломат, некогда смелый революционер, сильный в теории и способный для спасения партийной кассы рискнуть своей коротенькой шеей вплоть до императорской виселицы, открывая портфель, сказал:

– В Южном Синьцзяне дунгане получили шесть тысяч японских винтовок... Климентий Ефремович, я бы советовал вам послать несколько самолётов генералу Ма... Нельзя позволить перерезать необходимую для нашей контрабанды дорогу на Урумчи...

Нарком обороны Климентий Ефремович, слесарь по своей первой профессии, самый крепкий в правительстве, полный, краснолицый, с подстриженной бобриком шевелюрой и в подпителии, не думал ни о чём. Положив пальцы на кромку стола, он рассматривал луночки на своих коротко обрезанных ногтях. «Говорят, луночки показывают, каков запас жизненных сил в организме. Недавно какой-то французский журнал дал об этом статью, надо бы спросить доктора Левина. Хотя, в сущности... В любом случае мне не выговорить ни цемента, ни металла для Северобайкальской стратегической дороги. Урумчи, дунгане, Китайский Туркестан, Внешняя Монголия, Внутренняя Монголия, укрепления по Амуру, Владивостокская база подводных лодок, новый особый трудовой лагерь на Камчатке, доклад военного атташе в Берлине – вздохнуть некогда до восьми часов вечера! И луночки ногтей истончаются...»

– Максим Максимович, я тут бессилён: вопрос политический, поставьте его на Политбюро...

На рыжих в этот момент глазах генерального секретаря чуть шевельнулись веки, и это движение неуловимо отозвалось в двух-трёх других, менее значительных головах: теоретика, руководителя пропаганды, обречённого выработать идеологические тезисы накануне политических поворотов, конференций, съездов, внутривластных облав; специалиста по сельскому хозяйству, одного знавшего масштабы некоторых засекреченных бедствий и умевшего закамуфлировать их под чуть ли не победы; грузина от Наркомтяжпрома, обуреваемого проблемами машинизма, – все трое с тремя оттенками удовлетворения, смешанного с беспокойством, сказали себе: «Да, пахнет жареным, Климентий Ефремович сердится... Он уже не берётся послать десяток самолётов в Синьцзян – пусть решает Политбюро, – хочет разделить ответственность. Хватит с него мелкого вероломства, когда решение предоставляют ему, чтобы сделать впоследствии виноватым и подорвать к нему доверие...»

Генеральный секретарь прекрасно уловил подоплеку демонстративного собеседования вполголоса между главой армии и главой дипломатии. Валяйте, товарищи, бодайтесь, года через полтора посмотрим, кому из вас отбить почки, а к кому быть мягче пуха... Выставив вперёд зажатую в зубах трубку, он невозмутимо обернулся на три четверти к товарищу Ягоде Генриху Григорьевичу, верховному комиссару госбезопасности, наркому внутренних дел, и произнёс так, чтобы его слышали все:

– Приближается конференция, Генрих Григорьевич. Вот-вот во всех щелях зашевелиятся и правые, и левые. Кончайте, что ли, кончайте! И информируйте обо всём меня.

В этой фразе левые фигурировали только в качестве противовеса правым, а правые упоминались лишь для одного-двоих присутствующих, не бывших сами по себе, разумеется, ни правыми, ни левыми, а сторонниками генеральной линии... Нажим на слова: *кончайте*, – имел особый смысл.

Хозяин Наркомтяжпрома качнул своим мясистым, налитым кровью лицом. «Совершенно верно. Совершенно верно», – пробормотал глава правительства с гладким шарообразным черепом на белом пристежном воротничке, которого Бухарин прозвал «каменной задницей». Удобно устраиваясь на стуле, Климентий Ефремович Ворошилов заложил пальцы за крепкую кожу ремня и как смелый игрок, не располагающий к тому же какими-нибудь словами получше, отчётливо сказал:

– Кончайте, как водится.

По крайней мере, в этом вопросе единодушие было обеспечено.

...Без слов шло к тому, что надвигающаяся конференция пройдёт с таким же единодушием во всех своих проявлениях; речь Вождя будет одобрена «целиком, полностью и безоговорочно»; полторы тысячи неистовых рук будут аплодировать, пока не выведут его самого из улыбчивого терпения; какой-то семидесятилетний укутанный в белые шелка

таджикский поэт взойдёт на трибуну читать на непонятном языке оду Великому Вождю Народов, ведущему их к цветущим долинам: «О! наш горячо любимый в веках!» Известны правила игры, невозможны сюрпризы, но никто не смог бы помешать механикам аппарата размышлять о том, чего никто не выскажет, к чему неумолимо стремится неизречённая мысль. Накануне весеннего сева нельзя ни оставить в силе прошлогодние решения, подорвавшие два урожая, ни сохранить на местах областных секретарей, которые проводили их в жизнь. Тем более нельзя куда бы то ни было двинуться, не качнувшись либо влево, либо вправо; невозможно подписать решения, не влекущего усугубления, ослабления, изменения или отрицания вчерашних решений. Значит, кругом капканы: аргумент левым или правым, угрозы вере в Непогрешимого, опасные трещины под ногами, – а кто знает, какая трещина станет завтра пропастью, кто знает, откуда хлынет дымящаяся лава? Поостережёмся, поостережёмся. В портфеле у генсека тридцать новых назначений секретарей обкомов и три постановления:

О распределении доходов в колхозах;

О порядке индивидуальной собственности на мелкий и средний скот в колхозах;

Об уровне временной стабилизации соотношения между товарным рублём и рублём бумажным.

Такие решения означают отступление по отношению к решениям прошлогодним, уступку мелкой деревенской собственности, а значит, эволюцию в направлении политики, за которую негласно ратуют правые; теперь левые элементы, прежде всего троцкисты, снова поднимут голову, будут разоблачать пагубное скольжение к Термидору, напоминать, что он говорил в 1926 году (и т. д.)...; правые элементы, и раньше всех несносный Николай Иванович Бухарин, скажут – не вслух, шельмецы, но в их молчании столько злорадства, – что они предлагали то же самое, когда ещё осмеливались что-нибудь бормотать... Борьба на два фронта: чтобы успокоить правых, прежде чем лишить их последних командных постов, надо ударить по левым... *Диа-лек-ти-ка...* По издыхающим, уже сто раз битым, рассеянным по застенкам и захолустьям ссылки, доведённым до суетного удовлетворения невидимым миру страданием левым... Будем материалистами. Наибольшая опасность вовсе не та, что бросается в глаза, а незаметная, ещё не проявившая себя в фактах; её, таящуюся в недрах масс, обнаруживает анализ. Главное не в том, что делают или думают люди, не в том, кем они сами себя считают, а в том, что они должны совершить в силу заложенной в них необходимости, вспомните положение о сущности пролетариата из Марксова «Святого семейства». Именно сейчас, когда с ними, кажется, покончено, левые возрождаются, благодаря направленным на восстановление мелкой крестьянской собственности декретам, которые должны вызвать в рядах партии настроения против. Даже если такие настроения пока не материализовались, в своё время они возникнут единственно потому, что должны существовать, и тем более опасны те, кто отрицает это. *Диа-лек-ти-ка*, дорогой товарищ. Утверждение требует отрицания, а отрицание – другого отрицания, каковое есть, в свою очередь, новое утверждение, поскольку оно есть отрицание отрицания. Загляните в «Феноменологию» Гегеля. И представьте, как вождь социалистических народов ступает по земле, готовой под его шагами разверзнуться бездной, как его прозорливый глаз замечает повсюду вырастающих, невидимых остальным гидр, которые – сколько ни срубай – а он бьёт! – непрерывно возрождаются... Представьте, что малейшее его движение подстерегают те, кто притворяется самыми близкими товарищами, но Вождь, нащупав за реальными намерениями людей даже такие, которые они должны были бы иметь, если бы осмелились, немедленно превращает потенциальных предателей в самых верных из своих соратников... И всё держится на нём, живом замке свода этого здания.

Значит, чтобы провести тридцать назначений областных секретарей (и тридцать подразумеваемых при этом опал, угрожающих ещё трем сотням влиятельных секретарей, трем тысячам менее влиятельных районных секретарей, тридцати тысячам совсем мелких,

ещё менее влиятельных секретарей...), о чём на заседании сказано не будет, потребуется в докладе генерального секретаря на конференции сделать намёк на тайную деятельность левых, фактически поддержанную правыми, на левый экстремизм, способный сыграть лишь на руку правым; а впрочем, левые это левые только в формальном смысле, в действительности это сами того не сознающие правые; правые – это правые коммунисты только в том же смысле, в действительности это контрреволюционный авангард, сам того не сознающий...

– Принесите мне карту, – негромко приказал верховный комиссар начальнику оперативно-секретной части, в ведении которого был отдел внутрипартийных уклонов.

Где-то в четырёх или четырнадцати сотнях кабинетов репрессивного аппарата есть большие карты шестой части мира, испещрённые именами, знаками и цифрами, отсылающими к приложениям. Чёрное на ней зелёными чернилами по циркулю для пущей элегантности обведено кружком, заключающим несколько имён: Елькин, Костров, Рыжик, Тарасова (Варвара), Табидзе (Авелий)... Среди многих других это всего лишь один кружок, содержащий немногие из трёх тысяч имён, которых больше, чем видимых звёзд на небе, это верно, но много меньше, чем левых, крайне левых и правых, рассеянных от Арктики до гор Куэнь-Луня, Тянь-Шаня, Памира и пустыни Каракум; от озёр Заонежья, Карелии и Финляндской границы до сыновей Тихого океана Охотского и Берингова морей... На таком взгляд не задерживается, рассеянный взгляд чиновника, поглощённого внутренним поиском.

В масштабах советского континента что такое, в самом деле, какой-то один из этих кружков, заключающих несколько судеб? А каков вес обведённых в нём судеб среди ста семидесяти миллионов других, тоже обведённых, заключённых одним мудрым взором? Что значат все эти мелкие страдания в масштабе истории, это бессмысленное сопротивление вибрионов в капле воды?

Если бы врио начальника отдела внутрипартийных уклонов был хоть чуть-чуть поэтом, он мог бы узреть всю огромную страну с высоты воображаемой стратосферы, но его профессиональный взгляд отмечал на карте изогнутые, никому более не видимые линии. Это были вероятные кривые маршрутов опасных мыслей. Они лучились, как звёзды от централов политического заключения, несовершенных как изоляторы, где пульсировала упрямая мысль, простираясь до концентрационных лагерей, колоний ссыльных, бараков на берегу Белого моря, монастыря на Соловецких островах, затерянного у подножия Арарата домика и занесённого песком селения на краю Голодной степи, куда только что сослали на три года автора «Тезисов о сталинской контрреволюции», опубликованных в рукописном журнале Суздальской тюрьмы; но на этапе, в Челябинском домзаке Уральской области, он устно изложил свои тезисы двум встреченным мужчинам и одной женщине; из этих двух мужчин один сегодня в Якутске, на севере Восточной Азии, другой – в Карелии; женщина, на пятом месяце ссылки арестованная повторно, пребывает в Верхнеуральском центре, и нет сомнений, что именно через неё централ узнал эти тезисы, влияние которых находят в тезисах левых троцкистской фракции осуждённых... Вот так загорается другая звезда в другой тюрьме. Отсюда ересь снова простирает свои лучи через весь СССР.

– Товарищ Оля, сейчас я продиктую вам директиву...

У стенографистки секретной части зачесанные назад бледно-льняные волосы, розовый оттенок и сдержанный, без лишнего оживления васильковый взгляд. Она очень высоко скрестила свои длинные, обтянутые шёлком телесного цвета ноги, раскрыла на коленях блокнот, расправила плоскую, одетую белым шёлком грудь и приняла совершенно обезличенную мину существа, готового записывать; во время работы у неё всегда такой отрешённый вид... Замужем ли она? Какое-то мгновение врио начальника рассматривал её с

особенным вниманием одинокого, страдающего печенью, много курящего, прикованного к постылой жене мужчины...

– Я готова, товарищ начальник, – медленно, совершенно обезличенным тоном говорит Оля.

«Вот замужем ли она?...» Директиве следует быть достаточно туманной и одновременно очень точной, прикрытой общими указаниями так, чтобы некоторые её пункты невозможно было применить, не нарушив других; она должна предвидеть противоречивые возможности, предписывать точные действия, подсказывать при этом нечто другое, давать основания возложить ответственность на того, кто этим вдохновится... «Пишите, товарищ Оля...» Директива предписывала в преддверии приближающихся партконференций незамедлительно пресечь всякую политическую деятельность левых, не создавая при этом у ссыльных впечатления организованной с политическими целями кампании; в некоторых (неуточняемых) случаях можно ограничиться организацией против них преследований за уголовные преступления, но это не должно выглядеть систематическим и давать мотивы для протестов с их стороны. Центр ждёт докладов через пятнадцать дней. Особое внимание следует обратить на то, чтобы обнаружить и воспрепятствовать распространению тезисов крайне левых, то есть Верхнеуральского меньшинства, при этом в ходе допросов или каким-либо другим образом не проявляя того, что им придаётся преувеличенное политическое значение.

– Принесите мне сводки... Как дела в левом секторе?

Спустив директиву в следующий эшелон, этажом ниже в том же здании, начальник оперативно-секретной части вызвал своего первого заместителя, весьма информированного в делах троцкистов, группы платформы пятнадцати (1926 г.), рабочей оппозиции... О чём говорят сводки? Они идут отовсюду, проанализированные и обобщённые людьми, знающими всё, что происходит в маленьких, начерченных зелёными чернилами кружочках на карте. Начальник и зам озабоченно закурили, с полуслова понимая друг друга.

– Верхнеуральские тезисы проникли везде. Следы выдержек из «Бюллетеня» найдены в письме из Перми, письме из Чёрного, в книге, конфискованной в Семипалатинске... Видите, здесь, здесь... в Семипалатинске произошёл раскол: семеро против троих, меньшинство за...

Конец синего карандаша преодолевает огромные расстояния, достигает пределов континента, затерянных, тронутых заразой деревень.

– Вы отреагировали?

– Нет, веду наблюдение...

– А! это очень хорошо...

Не следует слишком быстро переходить к арестам, надо следить, дать недугу несколько развиться; репрессия, как война по Клаузевицу, есть продолжение политики. Мы здесь для того, чтобы в нужный момент представить аргументы и факты: доказать, что болезнь существует, что она своевременно описана и побеждена... Доказать, что существуем и мы...

– Ну ладно, действуйте живее.

Один из этих двоих толст, у него детский с одышкой голос. Две маленьких красных шпалы, которые он носит на воротнике кителя, пока защищают его. Пауза в несколько секунд придаёт особое значение тому, что он, восседая в кресле, собирается изречь конфиденциальным тоном:

– Вы знаете, что директива, в сущности, исходит от Политбюро. Кажется, её продиктовал Сам... Так что постарайтесь...

У товарища Федосенко не было времени вникать в тонкости основных оборотов директивы, когда мотоциклист, преодолевший триста километров по зелёным равнинам, вручил ему в срочном пакете из Области копию императивной инструкции всем начальникам отделений: короче говоря, приказ к действию. Федосенко поднялся из-за стола, пропустив от затылка до почек и по всем мускулам разряд энергии: так быстры были его рефлексy хорошего государственного служаки. Стоя, он лучше владел ситуацией. Вдохнул побольше воздуха в свою могучую грудь. Не время оплошать или недоусердствовать! Огромность риска внушала ему боязнь, что он плохо понял. Вновь оказаться на стройке великого канала или навсегда скатиться до какого-нибудь места исполнителя на побегушках в борьбе против бандитизма в лесах! Страх затуманил его взор. Пришлось толкнуть задвижку на дверях, чтобы никто не беспокоил, не увидел его смятения.

Приказы и директивы, ещё более обязательные, чем приказы, их надо перечитывать от трёх до семи раз, пока пламя долга внутри не делается ослепительным: тогда путь ясен, никаких расслабляющих сомнений, остаётся лишь опасность переусердствовать, переработать, перебить, а это всегда не столь серьёзно, как недостараться... Он перечитывал, и перед глазами отчётливо вставали фигуры, заволакивались дымкой и возникали вновь; он оторвался от текста, чтобы получше разглядеть их: Рыжик, Елькин, Варвара, прибывшая – что очень важно – из Верхнеуральска, связанная с молодым грузином Авелием Табидзе – с некоторых пор они спят вместе – то, что кем-то из них можно управлять за счёт другого – возможно, хотя сомнительно; Костров, неясный, двуличный, выведен на осведомительницу. Федосенко был доволен собой. Предвосхитив интуицией директиву, всех своих он уже подловил: 1) безработицей; 2) Варвару делом о семи фунтах хлеба – кража продуктов, принадлежащих кооперативу; 3) Кострова делом о дюжине сотен тетрадей – саботаж, контрреволюционная деятельность, двурушничество по отношению к Центральному Комитету, ибо Костровым подписано заявление о раскаянии и верности... Текст у него имелся, и он его тоже перечитал; в докладных осведомительницы, библиотекарши Марии Измаиловны, описавшей все встречи с Костровым, один раз был упомянут материал издаваемого в Берлине. «Бюллетень оппозиции» и дважды тезисы верхнеуральских левых, в частности, о государственном капитализме...

...Федосенко, обложившись открытыми папками, потерял два часа, чтобы распутать клубок заговора. Главной уликой стал листок из школьной тетрадки, покрытый неуклюжим почерком Родиона, *«О рабочих хунтах в испанской революции, за которые ратует Л. Т., – письмо Л. Т. в Политбюро от 24 апреля 1931 г., предлагающее единый фронт коммунистов в испанской революции, провал которой был бы автоматически чреват триумфом фашизма на итальянский манер...»* Эту разглаженную, испачканную землёй бумажку с отпечатком полкаблука рабочий Курочкин, браконьер и расхититель лесоматериалов, однажды, любопытствуя, вытащил из книги, которую Родион на сон грядущий прятал под подушку; Курочкин колебался, чувствуя, что идёт к серьёзному делу, целый вечер с тяжестью в груди и голове колот дрова, чтобы совсем не думать. Потом, смяв эту бумажку сильной рукой, Курочкин бросил её в угол, в мусор. В глубине души он прекрасно сознавал, что там её и найдёт, когда будет совсем готов стать подлецом; в противном случае он вернул бы её на место или отдал бы, как было пытался, Родиону со словами: «Родионыч, это не то письмо, которое потерялось?» Такие слова были у него на губах, он выдерживал их несколько дней, думая: «Нет, Родионыч, я не подлец», но на четвёртый день спокойная решимость привела его в себя, он подобрал украденную бумажку, расправил её, подсушил подтеки помоев и след грязного каблука и направился в ГПУ. Ведь за ним, как за каждым, водилось немало грешков, на нём висело подозрение в краже рыбацкой сети – и тут он приходит исполнить долг, знамо дело, власть может рассчитывать на Курочкина. При этом слова «испанская революция» наполняли его глухой радостью. Уж тут он, подумать только, не дал себя одурачить! Плевать нам на Испанию, и Родиону не меньше, чем кому другому, но таких

дурачков, чтобы написать «Россия», нет. Приятно было знать, что люди работают на новую революцию, которая оплатит все накопленные за десять лет счёта. Она может налететь внезапно, как пурга зимой, тогда Курочкины покажут, наконец, на что они способны! При мысли об этом челюсти его сжались, он погасил проблески света во взгляде. Полный горечи, которая ничуть не колебала его решимость, Курочкин принёс в ГПУ украденный у Родиона листок. Дежурный, ничего не понимая, поместил его в папку. Там и нашёл его Федосенко, как старатель самородок.

– Надо арестовать Елькина или Рыжика.

Только ни у того, ни у другого не найдешь ничего, кроме обычных, исчерканных синим и красным, газетных вырезок. Ни тот, ни другой ничего не скажут. И тот, и другой направляет в ЦК длинные, наглые послания, и переслать их, разумеется, придётся... К счастью, есть трусы! Без них с сильными никогда бы не справиться.

V **НАЧАЛО**

Когда Костров явился для выполнения еженедельной формальности, обязательной для ссыльных, ему предложили обратиться в кабинет начальника.

– Войдите, – сказал Федосенко сухо.

– Добрый день.

Он продолжал писать. Костров мгновение постоял растерянно посреди ковра, не решаясь садиться без приглашения. Потом присел на краешек дивана и даже положил ногу на ногу. Важничаешь, хочешь произвести на меня впечатление? Навидались мы такого, друг мой. В этот день Костров чувствовал себя хорошо, быть может, из-за свежей, холодной и тихой погоды, как раз такой, какая нужна для его сердца. Мягкие белые облака плыли в прозрачном небе. Он скромно развернул газету... «Время у меня есть, товарищ начальник...»

– Как чувствуете себя, Михаил Иванович?

На сей раз тон был вкрадчивым, что-то в голосе насторожило Кострова. Полуулыбка Федосенко, его более чем внимательный взгляд – всё это означало... означало?..

– Подойдите, Костров. Садитесь... Как здоровье? Как с работой? А как ваша жена? Нет, говорите, известий уже пятнадцать дней? Вряд ли можно поверить, что почта работает так плохо, придётся нам этим заняться. – Двойной подбородок начальника выпирает из стоячего ворота кителя, образуя отвратительный валик малиновой плоти...

Отвечая, Костров чувствовал себя излишне многословным, излишне любезным, отчасти пресмыкающимся. Он готов был биться об заклад, что три затерявшихся письма его Ганны были здесь, в ящике, читанные-перечитанные, и что после дела о дюжине сотен тетрадей, увольнения товарищей, перехвата переписки все эти беседы вели в какую-то западню... Раскрой же свои замыслы, эй, жандарм! Рискаю верёвкой в застенках румынской Сигуранцы в 21-м, он чувствовал себя лучше перед лицом смертельного врага, которому его поведение должно было сказать: ну да, мой лейтенант, мы смертельные враги. Я сам расстрелял бы вас с удовольствием: очень надо, чтобы мне сегодня удалось вас облапошить. Вы знаете это, как и я; вы лжете, и я лгу, вы вешаете, я расстреливаю, ваш ход!

Но говорил Федосенко:

– Михаил Иванович, я доверяю вам. У нас по отношению к вам мнения разошлись. Некоторые считают вас контрреволюционером, троцкистом, изошрённым во лжи, одним из тех непримиримых врагов, которых диктатура пролетариата во имя победы социализма должна рано или поздно уничтожить. Ваше заявление в Центральный Комитет мне известно,

считаю его искренним. Единственная причина, из-за которой я приостановил расследование по этому скверному делу о саботаже и контрреволюционной пропаганде в народном образовании. Понимаете, чего оно могло вам стоить: пяти лет заключения в лагерях. Когда преступление очевидно, я сторонник суровых кар, они дают психологический эффект и шанс на исправление. Прав я, как вы считаете?

– Совершенно, – сказал Костров задвленно.

– К тому же наши лагеря делают чудеса в смысле перевоспитания. Какое замечательное нашли слово, чтобы выразить это: переплавка человеческого материала! Как-нибудь я расскажу вам о результатах, которых я лично добился на онежских стройках с кулаками, бывшими офицерами, бандитами, инженерами, попами, фанатиками, короче, самыми антисоветскими элементами, при относительно слабой смертности: 6-7 %. Именно поэтому Особая Коллегия приняла принципиальное решение впредь содержать как можно меньше в ставших очагами контрреволюции централах заключения. Трудовые лагеря – вот форма лишения свободы для будущего. Вы, как педагог, можете это оценить?

Костров согласно, учтиво, с самой лицемерной из своих полуулыбок кивал головой. К чему ты хочешь вывести, бычья морда, жандарм, иезуит? Эх! как объяснить, что революция смогла породить тысячи таких вот существ, снабдить их автоматическими пистолетами, знаками различия, портретами Маркса и трудами Ленина в красных переплётках, внушить им такое самодовольство, такое чудовищное тюремщицкое фарисейство?

– Видите, Костров, я говорю с вами по-товарищески. В сущности, мы с вами люди партии. Думаю, что ваше восстановление – лишь вопрос времени. Вам выпал случай быть мне полезным и вновь завоевать доверие ЦК. Здесь разворачивается очень серьёзное дело.

«Только не бледнеть, не проявлять излишней заинтересованности, не разыгрывать преувеличенное спокойствие, не... В любом случае, вот я и попал в переплёт», – подумал Костров.

– Целиком и полностью одобряю, что вы не порвали связей с троцкистами. Не то, чтобы я разделял ваши иллюзии, если вы задумали таким образом вывести кое-кого на правильный путь. От тех, кто здесь у нас имеется, ждать нечего. Возможно, субъективно, они остаются революционерами. Объективно, это закоренелые контрреволюционеры. Но вы, сохраняя контакт с ними, конечно, лелеете надежду ещё послужить партии. У меня имеются вещественные доказательства, что в ссылке организовалось троцкистское ядро, оно ведёт обширнейшую идеологическую деятельность, состоит в сообщении с другими кружками и даже получает директивы из-за границы... ЦК придаёт этому делу первостепенное значение.

– Как такое возможно? Я...

Федосенко притворился, что не расслышал. Чтобы не видеть протестующего жеста Кострова, он чуть-чуть отвернул голову; валик малиновой плоти между подбородком и воротом кителя будто вздулся.

– Ну ладно, Костров, вы их знаете. Скажите мне, кто, по вашему мнению, наиболее опасен?

– Они не скрывают своей оппозиционности, товарищ Федосенко, но опасного я не вижу...

– Напротив, Михаил Иванович, прекрасно видите. Не надо сантиментов, умоляю, не надо этих интеллигентских штук. Который?

«Хочет заставить меня произнести имя, ибо сказать такое – значит предать, хотя это не имело бы никакого значения, никакого значения, ведь я ничего ему не сообщу, а значит, не будет и предательства...»

– Елькин...

– Да... А кто ещё?

– ...Рыжик...

– Стало быть, этих двоих вы считаете жожаками, вероятными руководителями нелегального Комитета Трёх или Пяти?

Идёт человек по ровному месту, и вдруг под его ногами почва проваливается, его захватывает трясина, грязь доходит до колен, до бёдер, он чувствует, как собственный вес тянет его, вязкая жижа обволакивает, начинает мутить от прелого запаха, подступает удушье. И любое движение вместо высвобождения топит его ещё больше... Костров слабо запротестовал:

– Ну нет, товарищ Федосенко, ничего подобного я не говорил. Я знаю этих людей как бывших членов нашей партии, которые ошиблись в важных вопросах политики и несомненно продолжают заблуждаться... Я действительно ничего не знаю об их Комитетах Трёх или Пяти, если что-нибудь подобное существует...

– Не ждал такой игры с вашей стороны, насколько мне известно, информацией вы располагаете. Или вы смеётесь надо мной. Тогда поостерегитесь. Я всего лишь вывел на основе ваших разоблачительных заявлений наиболее достоверную версию. Впрочем, мне пора придать нашей беседе письменную форму допроса, что вы и подпишете. При такой перспективе влияние и попытки отпереться придают вашей позиции особый оттенок. Идите.

Внизу лестницы Кострова догнал дневальный: – Гражданин, пройдите, пожалуйста, к коменданту.

Стол коменданта был в комнате охраны на входе в здание. На барьер наседали жёны рыбаков с узелками. Продавленное кресло было завалено грязной, казавшейся ещё тёплой одеждой. Кого здесь только что раздели? За что? За окном можно было видеть медленно тянущиеся телеги...

– Выньте всё из карманов, – сказал комендант.

Костров понял, что это снова тюрьма. Хаос. Что-то в его груди оторвалось и медленно, тяжело ухнуло... Он вывернул карманы. Мозгляк приоткрыл дверь в глубине и сделал ему знак.

Странная была голова у Мозгляка, живая и одновременно мёртвая, грудная клетка скелета, пустая и белая под гимнастёркой; он повёл Кострова сквозь густеющую тьму, заставил пересечь двор, под которым небо было тусклым, как огромный бетонный купол, заставил спуститься по лестнице, залитой мгlistым электричеством, открыл дверь и с почти любезной фамильярностью подтолкнул его в нечто вроде подвала, пахнувшего соломой, плесенью, солониной, вечно холодным камнем, задвинул засовы и ушёл, поднялся к свету, прихрамывая, в чистой гимнастёрке, с револьвером на поясе, пустой грудной клеткой и тёмными дырами вместо глаз.

– За другими пошёл, – сказал себе Костров.

В темноте зашевелилась солома. Из неё возникло подобие человека, простёрло к Кострову длиннющие руки, которые пробежали по нему, ощупывая плечи, бедра; движения были такими холодными, такими лёгкими, как прикосновения больших летучих мышей. Наклонившись, Костров начал различать покрытое космами лицо, зрачки, в которых мерцала чёрная душа.

– Есть чего пожрать?

– Нет, – сказал Костров.

– Какой сегодня день? Какое число?

– Шестнадцатое.

– Эх! – произнесло подобие человека. – Дерьмо!

И замкнулось в себе, смешалось с соломой, почвой, чёрными камнями, тишиной. Костров терзался одним вопросом: что это на сей раз, начало или конец....

Вместо того, чтобы поставить Рыжику положенный штамп в бумаги, Мозгляк спрятал их в ящик.

– Да, – сказал он как бы про себя, – досадно, но ничего не могу поделать. Вы арестованы, гражданин.

Рыжик не был чрезмерно удивлён. Где-то в глубине внутренний голос воскликнул с горечью: «Наконец-то!» Суровая, белая, с почти геометрической правильностью вытесанная из окаменевшей плоти голова его, выпрямляясь, сделала движение как орудие при откате. Он с откровенным презрением взглянул на сидевшую по ту сторону стола марионетку в форме.

– Ладно, видно, старая сволочь Коба вспомнил обо мне... Сволочь с рыжими глазами... (Он говорил сам с собой, но совсем громко).

– Что? Что вы сказали? Кто?

– Коба. Глава правящей фракции в партии. Могильщик революции. Сволочь, которой вы лижете задницу...

Мгновенный, совершенно механический спуск пружины, находящейся где-то между седалищем и затылком, подбросил вверх выходящего из себя Мозгляка:

– Гражданин, я запрещаю вам...

Но взорвался и Рыжик, совершенно белый, с тяжестью в плечах, с тяжестью в почках от охватившей его бесповоротной решимости. В последний, может быть, раз в своей жизни, бесполезно и смехотворно он сказал одно, но сказал настолько внушительно, что Мозгляк сел.

– Ничтожество вы, гражданин, ничтожество. И с вами я совсем не разговариваю. С контрреволюцией я не стану дискутировать здесь. Если уж плевать ей однажды в лицо, то не ниже, чем в морду генерального секретаря. Передайте своему начальству, что ни на какие вопросы я отвечать не буду. Надеюсь, вы поняли?

Он неистово склонился к Мозгляку, и Мозгляк струсил. Испуганно вежливый, немного сутулясь, Мозгляк, опираясь руками на кромку стола, ответил:

– В точности передам ваше заявление... Сейчас постараюсь подыскать вам чистую камеру.

«Член партии с 1904 г., встречался с Лениным на Пражской конференции, бывший член революционного совета 6-й, 7-й и 8-й армий», Рыжик, очевидно, имел право на чистую камеру... Надо бы крикнуть: «Чистую или нет, плевать мне трижды, мне всё равно...» – но его воля была крепче. Бесплезный гнев спал. Всё представлялось ясно: невозможность провести весенний сев без некоторых уступок крестьянам; как следствие, заградительный удар вправо; Грузин жертвует своими вчерашними исполнителями; для прикрытия маневра – репрессии против левых (первый ход), затем кампания против правых в партии (второй ход). Значит, будут «шить дела» и отправлять в тюрьму тех, кто вышел оттуда в прошлом году, всё тех же. Поскольку я уже имел три года, потом два, это пять, семь с высылкой, то могу рассчитывать на максимум... Бюрократическая контрреволюция встаёт со всей украденной у пролетариата силой, победила она недавно, потребуются долгие годы, пока пролетариат начнет думать, зашевелится... А я, мне шестьдесят один год. Поскольку Рыжик давно всё знал, эта минута, несмотря на свою невыразимую тягостность, никак не удивила его.

Мозгляк встал из-за стола, мелкими шагами, обогнув Рыжика, вышел в коридор. Ненавидящими глазами Рыжик проследил за его бритым синеватым затылком с просвечивающим маленьким круглым черепом. Рыжик взял со стола бронзовую чернильницу, прищутив глаза с горечью во рту, взвесил её как оружие. «Нет, в самом деле, не стоит...» («Ещё не время... А когда придёт время, со мной будет кончено...») Он поставил бронзу на место и, с силой толкнув дверь, оказался нос к носу с Мозгляком.

– Хватит с меня. Отправляйте куда хотите. Не желаю больше ждать ни секунды. Ну.

Случайно или интуитивно, широким порывистым шагом он выбрал лучшее направление к резервным камерам первого этажа, и Мозгляк, хромя как дергающаяся марионетка, пошёл впереди. Слышно было только гневную поступь Рыжика.

– Вот здесь, – почти заискивающе сказал Мозгляк перед дверью. – Извините, гражданин, лучшей камеры у меня нет. У нас слишком много народу. Всё-таки вам будет неплохо...

Перед Рыжиком отворилась дверь то ли в резкую загробную белизну, то ли в отштукатуренную могилу. Но это была всего лишь пустая комната. Изумительно свободный, крепко держа в руках свою судьбу, вошёл он туда, и родной елькинский голос приветствовал его:

– Здорово, старина. Рад тебя видеть... Значит, всё повторяется сызнова?

Рыжик ходил от стенки к стенке, и голос его тоже ходил от стенки к стенке, и мысли наткнулись на невидимые стены через каждых четыре шага... Тогда они повторяли короткий путь узников в обратном направлении.

– Вот так, Димитрий: тупик. В природе такое случается, когда наступает предел сил. Горизонт вдруг закрывает гора – и будущего больше нет. С моими людьми, лошадьми, с самим собой я был один, один как ребёнок. Я тупо смотрел на карту, на тонкие красные нитки дорог, потом – на гору. Я считывал обозначения высот в бергштрихах: две тысячи четыре, две тысячи семь... Там так и было написано: *смерть, смерть*, – куда уж яснее. Непреодолимо, в том состоянии, до которого мы дошли. «Товарищи, нам не пройти. Невозможно». Понимаешь: измотанные животные, истощённые люди, жажда, идущие всё выше и выше тропы над пропастями, головокружение... Друг мой, по ту сторону хребта была, быть может, красивейшая в мире долина. Во всяком случае, мы могли в тот момент верить, не опасаясь разочарований, поскольку нам было не пройти... Позади Тургайская пустыня со скелетами казахов и верблюдов на жёлтых дорогах, её чахлые, усыпанные колючками кустарники, её скорпионы, её медное, раскаленное солнце, и высоты Каратау, и абрикосовые сады Ферганы... Мы были на пределе сил. Нам бы на двадцать часов жажды меньше, мы бы держались, всё было бы возможно. В сумерках на отдалении выстрела появлялись гиены, они уже чуяли в нас свежие трупы... Мерзкие твари. Это, брат, уж точно... Сегодня пятнадцать лет от той малости, которой не хватало мне, чтобы преодолеть хребет...

– Старина, если бы под конец вот так и было, я считал бы это прекрасным... Улечься бы на выжженной траве, среди камней и песка... Была бы жажда, голод, холод, лихорадка, стучали бы зубы, всю землю, зелёную и жестокую, увидели бы в бреду и ещё сказали бы себе: Эх! чёрт побери, как досадно подышать вот так, но как это прекрасно: земля, жизнь, революция! А в конце концов, может, и выкарабкались бы... В тот раз ты счастливо отделался... Тебе пришлось одолеть всего лишь Памир. Сейчас нам понадобилось бы спускаться в бездны подлости без карт и компасов с малой надеждой выбраться... Быть может, мы ещё встретимся здесь же через десять лет и порассуждаем в ожидании сто седьмого этапа в сто восьмую социалистическую тюрьму... Кто устроил нам родиться под такой несчастливой звездой? Ответьте, *герр доктор Фауст!*

– Не балагань, Димитрий. Может, ты и будешь здесь через десять лет, порассуждаешь с кем-нибудь, как мы сегодня, только не со мной. История нетороплива, ураганный оборот она принимает только раз в сто двадцать примерно лет. Этот приблизительный подсчёт периодичности великих революций сделал Кропоткин, но он ничего не понимал в марксизме, старый утопист... Во всяком случае, пройдут десятки лет, прежде чем наша Россия зашевелится. Подумай об этой старой аграрной стране, об этом старом, запыхавшемся, обескровленном, пожираемом новыми идеями и новыми машинами пролетариате, об этом молодом, крестьянском, ещё ничего о самом себе не знающем пролетариате... Отсюда: не строй иллюзий, ты долго будешь жить в наморднике, если выживешь, если свора выскочек, предавших всё, кроме собственного брюха, не избавится, наконец, от тебя, пустив порцию свинца в неудобный твой мозг, переполненный ярко-красными воспоминаниями... Они знают, что такое мы и что такое они... Нет более практичных и более циничных людей, более склонных всё решать через убийство, чем привилегированные плебеи, которые всплывают на исходе революций, когда над огнём затвердевает лава, когда революция всех оборачивается контрреволюцией немногих против всех. Это формирует новую мелкую буржуазию с волчьим аппетитом, не понимающую значения слова *совесть*, осмеивающую то, чего не понимает, живущую за счёт силы и железных лозунгов, прекрасно знающую, что она украла у нас старые знамёна... Дико и низко. Мы были беспощадны, чтобы изменить мир, они будут такими, чтобы сохранить добычу. Мы отдали бы ради неведомого будущего даже то, чего у нас не было, и свою, и чужую кровь. Дабы от них не требовали лишнего, они утверждают, что всё уже свершилось, и для них действительно свершилось всё, поскольку всё в их руках. Они будут бесчеловечны из трусости.

Хочу рассказать о встрече с Флейшманом. Да, с тем самым – 6-я армия, Петроградская ЧК, Академия генерального штаба, Марганцевый трест и тульский скандал. Помнишь его наружность бритого раввина? Я знавал его тощим, когда он приехал из Парижа в 1919 году. И вот, на Лубянке во внутренней тюрьме вызывают меня на допрос, а принимает – в форме, со знаками различия на вороте – шишка. Жирная скотина лично пожелала допросить меня. «Ну, что, – говорю я ему, – ползёшь? А? В дерьме вплоть до двойного подбородка, а?» В 19-м под Ямбургом с ударным отрядом рабочих фарфоровой фабрики залегли мы бок о бок в затопленной траншее. Дерьмо текло туда с двух сторон, а на дне болтались трупы. Стоило надавить сверху – и их раздутые животы крупными, зелёными и тошнотворными пузырями испускали газы. В двадцати сантиметрах выше наших голов веером строчил пулемет. Те, кто высовывался, отчаянные или ошалевшие, немедленно падали с пробитой головой. Я скомандовал: «По-пластунски, вперёд!» – и двинулся. Показывая пример, Флейшман последовал за мной. Наши локти соприкасались. В этом дерьме через каждые два метра мы, изгвазданные до бровей, оборачивались друг к другу и кто-нибудь один спрашивал: «Ползёшь?» – а другой, задыхаясь, но гордо отвечал: «Служу революции...» Когда те, из бывших, гвардейские офицеры увидели нас – отвратные смрадные фигуры – восставшими на другом конце траншеи, они, должно быть, подумали, что встают гнилые трупы... Через десять лет Флейшман при нашивках и наградах собрался допрашивать меня с моей рожей бродяги и пустым животом. «Всё ползёшь? – сказал я. – А? В этом самом до подбородка? Всю жизнь пресмыкаешься? Служишь чему? Эх, старина!» Едва ворочая языком, Флейшман ответил: «Поползу, если надо будет, а ты, дурак, сдохнешь бесполезно!» Потом перешёл на официальный тон: «Гражданин обвиняемый...» Тут я понял, что там он был в своей стихии, что с тех пор ползать в нечистотах Термидора стало его натурой, что он даже разъелся, когда это перестало быть опасным, что имя им легион, типам вроде него. Флейшман всё-таки был одним из лучших, ибо были у него светлые моменты в жизни, он охотно предпочёл бы другое, и, конечно, на самом дне его душонки, под прогорклым салом крупного начальника должна была сохраниться хоть малая малость не знаю какой социалистической совести; я понял, таким его сделали окружающие, которые хуже, потому что никогда не знали того, что он забывает с трудом, они никогда не сознавали себя алчными пресмыкающимися,

стремящимися выжить в удушливой атмосфере лжи и зловония. Такие не понимают ни его, ни меня; такие боятся нас как непостижимых чужаков в покоряемом ими мире; им достанется моя шкура, как и шкура Флейшмана, несомненно, хотя пока он жирует. «Давид, – вскрикнул я, – перестань играть роль. Я тебя знаю. Ты совсем не такой. Дай сказать». Он дал мне сказать. К концу до него дошло, мы постояли перед окном как когда-то после заседаний ревкома. «Может, ты и прав, – ответил он мне, – но я всё же думаю, что самое мудрое – это ещё какое-то время поползть...»

– Держу пари, – сказал Елькин, – что доверительность не помешала ему тебя допросить...

– Само собой. Именно ему я обязан ссылкой в Суздаль. Но разве мог он иначе? Ведь кому-то надо делать эту работу, ему или кому другому, не так ли? Он так мне и сказал, пожав плечами... Не знаю, Димитрий, зачем я тебе рассказываю всё это. Когда потоп, каждый тонет по-своему. Сомневаюсь, что нас оставят вместе больше, чем на двадцать четыре часа, а мне надо сказать тебе две важных вещи. Вот что: ты должен сделать всё, чтобы жить, в тюрьме или где-то ещё, во что бы то ни стало, слышишь. Не позволяй впутывать себя в идиотские голодовки. Их задача – потихоньку уничтожить нас, наша – выстоять. История продолжается. Что сеют, то они и пожнут сторицею. В тот день мы будем очень нужны.

– Согласен по всем пунктам.

– О следующем твоего мнения я не спрашиваю. У меня всё обдумано. Я уйду. Кончаю. С меня хватит. Никаких возражений, молчи, увидишь – я не сдаюсь. У меня давно уже всё утрачено, да мне ничего и не надо. Сам себе стал не нужен. А впрочем, сам себе я никогда не был нужен, я убеждал себя: как личность ты – орудие в руках партии. Ах! какое чудесное было время. Как-то вечером боль комом встала у меня в горле, в голове гудела тысяча колоколов, я узнал, что недавно убили женщину, которую я не позволял себе любить. Тогда я спросил себя, не забыл ли я про жизнь, и, перекрывая этот дикий трезвон, во мне вдруг раздался ответ: нам надо забыть о себе, чтобы жил пролетариат! Как он жил в то самое время... Не улыбайся, если я сбивчив. Знаешь, я презираю тех, кто сам себя убивает из трусости или потому, что пребывающий в родовых муках мир отказывает им в какой-нибудь пустяковой, для временного утешения в их собственной суете, игрушке. В отличие от них, я допускаю право на уход. Есть революционное мужество расстрелять себя самому. Ты больше ни на что не годен, значит – уйди, старый брат. Нервы, мускулы, нутро, мурло ещё тянутся к жизни, хотелось бы выпить стакашек, поваляться на травке под солнышком, мы ведь животные. Победи в себе зоологическую сущность, раз надо, и тогда – последний сознательный акт. Полагаю, что я к этому готов. Не пистолет, к сожалению. Это будет долгим, с кучей всяких неприятностей. Ничего не поделаешь. Молчи, говорю тебе. У нас мало времени. Голодовку я устрою только в Москве, когда буду уверен, что Коба получит мой последний плевок в рожу.

Ты нужен мне ныне и присно. Выучишь наизусть моё последнее заявление и в тюрьме, где ты будешь, предашь его гласности через год, день в день, если, конечно, раньше, из надёжного источника не узнаешь о моей смерти. Ты не изменишь в нём ни единого слова, боюсь я твоих теорий...

Елькин, который тоже пустился шагать от стены к стене – они оживляли камеру странными колебаниями двух сумасшедших маятников, – сказал, насупив брови:

– Само собой разумеется... Свои теоретические оговорки я оглашу после. Мне кажется, ты прав. Твой уход произведёт некоторый эффект в партии (он энергично потер руки)... некоторый эффект...

– Ладно, – сказал Рыжик. – К делу.

Варвара резала хлеб. В полутьме мимо неё текли похожие одно на другое лица, они да ещё руки и мельтешили, лица и руки. Руки тянулись с хлебными карточками, где надо было вырезать № 26, руки тянулись к торопливо взвешенным ржаным буханкам, жизнь имела влажный, кисловатый, ржаной запах. Жёны рыбаков несли с собой запах рыбы. Какая-то девчонка, прижимая три нормы хлеба к груди, замешкалась, прилипла к прилавку и подняла на Варвару большие доверительные глаза... Что-то читалось в этих глазах. «Чего тебе ещё, маленькая?» Вырезая очередную карточку, Варвара нагнулась к девчужке, и та живо проговорила:

– Меня Галя послала. За её Димитрием нынче ночью пришли. *Туда* сегодня не ходите, всех вас заберут... Глаза доверительно сияли.

– Вроде бы ничего не забыла... – улыбнулась девчонка. – До свидания, товарищ.

– До свидания...

Только бы не Авелия! Стало быть, любовь тоже плохая штука, раз она так бесцеремонно может столкнуть всё на своём пути? Варвара слышала в себе эхо вопля: «Авелий, Авелий!» – но руки её, подрагивая, бросали на весы хлеб, она что-то кому-то отвечала; если за ней наблюдать, можно было бы увидеть, как натянулась кожа на её лице, разгладилась к вискам, тоньше стали черты, прищурились глаза, помрачнели губы, ведь приходилось отринуть любовь, коли так, коли в час опасности о нём думается прежде, чем о товарищах. Несомненно, они собираются арестовать нас всех прямо сегодня. 1. Уничтожить почту. 2. Подготовить молодых, Авелия, Родиона к испытанию (они выдержат...). 3. Написать Кате... 4. Написать в Москву. Предупредить. Изменить почерк и адрес, чтобы они никак не перехватили эту открытку.

Остаток дня истек в трёх различных планах. Автомат делал своё дело: отпускал хлеб, не теряя ни единого номера; под обычной маской несхожими, но неразделимыми жизнями жили два существа: одно мыслило, другое страдало. А может, ничего страшного: обычные весенние строгости, месяца три придётся провести в подвалах госбезопасности, потом возможен перевод, но если куда-то ушлют Авелия, как жить без Авелия? – такое опасение едва не вылилось в горьком рыдании, но Варвара проглотила его с обильной слюной. «Эй, гражданка, не доवेशиваешь, о чём задумалась?» Варвара вернулась к сосредоточившейся на стрелке весов действительности, добавила граммов тридцать хлеба, пробормотала: «Следующая», – и ясные, тяжёлые, как металлические болванки, мысли сами собой пришли в порядок: «Нет, на сей раз всё будет посерьёзнее, без сомнения, накануне партконференции собираются возбудить дела против троцкистов, чтобы отвлечь внимание: ссыльные кадры будут отправлены в изоляторы – и, чтобы выйти оттуда, понадобится, два-три года, если не произойдет чего-нибудь непредвиденного; Авелий и Родион могут этого избежать, молодых не любят сажать в тюрьмы, где они набираются от старших...»

– Не ходить никуда! – предложил Родион. На закате они собрались в городском саду, в безлюдном месте с видом на старый рыбный рынок. Синие склоны сбегали оттуда к броду; дальше за Чёрной простиралась открытая во тьму равнина.

– Да ты с ума сошёл, Родион! – воскликнула Варвара.

– Послушайте, – стоял на своём парень. Он был уверен, что знает дороги. На север, к морю, но там легко заблудиться и сама тундра станет тюрьмой. На юго-востоке – железная дорога, каждая станция – капкан; а вот на юг, отшагав пять-шесть сотен километров, можно выйти из зоны особого внимания... Паспорта можно украсть. Десять дней ходу, рискуя умереть с голоду – почему бы и нет? а? – через леса, степи можно добраться до Белой, можно спастись...

– А другие? – возмутилась Варвара. – А партия! Кто мы такие, Родион? Варнаки, бродяги, как по-твоему?

«Никогда не забывай, что мы – живая фракция партии...» – Даже если она не произнесла этого, мысль прозвучала отчётливо. Родион упрятал в коленях руки, глаза его блуждали по дальним потемкам. Он знал всё это, но понимал плохо, или уже не понимал, или почувствовал, что, наконец, почти понял совсем другое. Тюремщики и узники, пока мы в одной партии – единой партии революции; они разлагают её, ведут к краху, мы сопротивляемся, чтобы спасти её вопреки им. От больной, руководимой разложившимися карьеристами партии нам остаётся только звать к здоровой... Но где она, где? Кто это? А если это вне партии? Истинная партия трудящихся вне партии, но возможно ли такое? Мы – гонимая, верная гонителям фракция, преданная великой партии, а они украли её знамёна и предадут её... В подступившем мраке Родион с трудом различал лица товарищей.

– Послушайте! Это больше не истина: что-то утрачено навсегда. Ленин уже не встанет в своём мавзолее. Наши единственные братья – это люди труда, у которых не осталось ни прав, ни хлеба. Вот с ними надо говорить, с ними – переделывать революцию, и, прежде всего, нужна совсем другая партия...

Близкие лица товарищей, Варвары, Авелия казались в ночи мертвенно-бледными.

– Было бы преступлением, – отозвались они, – поднять изголодавшихся, отсталых, несознательных рабочих против их собственного организованного авангарда, единственного, что осталось, как бы ослаблен и истрёпан он ни был... Пытаясь возобновить революцию, мы рискуем возбудить враждебные силы крестьянской массы... Любой ценой надо лечить партию. Неважно, если она сомнёт нас, лишь бы воспрянуть завтра, когда рабочий класс... Недопустимы никакие побегі, пока есть надежда.

– Термидорианцы! – пробормотал Родион. – Сукины дети! Извини, товарищ Варвара, это только мысли, а надо бы сказать громко...

– Хватит о термидорианцах, – мягко сказала Варвара. – Это точно.

– Нет! Не хватит! – воскликнул Родион. – Как выразить в марксистских терминах: сукины дети? Дети грязного униженного животного, которое побили, дали пинка в живот, кормят объедками и которое годится только на то, чтобы кусать убогих? Ты образованная, вот и дай мне научную терминологию! Что сказал бы Гегель, если бы увидел, как бюрократическая сволочь сосет кровь победоносного пролетариата? А Владимир Ильич, что сказал бы он?

– Думаю, Ленин сказал бы, как ты, – серьёзно ответила Варвара.

Они обсудили все возможные варианты, договорились, как себя вести, сделали вывод, что про почту никто ничего не знает, предательства быть не могло, но, в принципе, ждать надо худшего. Грузин снова готов отринуть свои вчерашние действия: чтобы манипулировать партией, ему нужны жертвы; мы были бы очень опасны, если бы существовали в политическом смысле слова.

Тут Варвару прервал Авелий:

– Если бы существовали, говоришь? Значит, считаешь, что мы не существуем? Я часто задавал себе этот вопрос. Мы существуем, как росток в земле, как угрызение в больной совести, но не более...

Тюрьма уже обступила их. От этого даже под широким, ещё прозрачным небом они испытывали удушливое чувство.

– Не пойдём туда ни сегодня, ни завтра, – сказал Авелий. – Пусть эти сукины дети, как сказали бы Гегель и Ленин, сами придут за нами...

– Да, брось свою лавку, Варвара. Жалкий хлеб прекрасно распределят и без тебя. Вздохнём одну ночь свободно.

Они решили провести ночь в лесу над рекой. Авелий пошёл, чтобы уничтожить почту, взять одеяла, мыло, хлеб. «Хочу ещё раз увидеть город», – сказал Родион. Какая печаль его туда манила? Этого он выразить не мог. Он прошёлся среди людей по бульвару Советов. На киноафише увидел бросающих в мир страстный клич моряков 17-го года в перепоясанных пулеметными лентами бушлатах. «Что делать, братишки?» – спросил Родион, узнавая в них себя, хотя родился с опозданием лет на десять, то ли потому, что есть судьба, то ли потому, что её нет? Наверное, это уже не проблема: судьбу надо делать твёрдой, пролетарской рукой, а там – тем хуже, если я сдохну через это! Под каланчой из красного кирпича пожарные заводили своих коней на конюшню. Родион погладил ладонью круп могучей кобылы. Чистивший её рыжий ворчун с твёрдыми бицепсами показался ему симпатичным. На его лицо упал свет фонаря. Родион жалел таких людей за полную несознательность. Жить без понятия, подчиняться, одурев от всяких лозунгов, подчиняться, не служа великому общему делу, да лучше я умру в самой холодной из ваших тюрем, сукины дети! Родион отдохнул на камнях, упавших с карниза церкви Святого Николы, созерцая площадь Ленина, бюстик Владимира Ильича, забытый в самом центре этого запущенного пустыря, три каменных, отнятых некогда во имя справедливости у богачей дома, где теперь располагались госбезопасность, райком партии и Совет – одним словом, несправедливость. Подле памятника щипала чёрную траву пятнистая коза с двумя смешными чёрными козлятами. По диагонали площадь пересекали люди, тянувшиеся к освещённым окнам профсоюзного клуба на улице товарища Лебёдкина. Родион любовался небом над крышей, синева которого, ступаясь, делалась интенсивнее... Таким спокойным был Родион, что коза подвела к нему своих малышей пощипать травки вокруг его сапог. Родион тихо шевельнулся, но животные чувствовали, что он неспособен бросить в них камень... Если он не думал, то только потому, что в его мозгу зрела единственная мысль: как потемнело небо. На втором этаже госбезопасности зажёгся свет. «Старайтесь, день и ночь старайтесь, всё равно вас смоем... После долгой зимы лёд вскроется и вешние воды возьмут своё... Как хорошо будет, когда они зальют... ваши папки, ваши бумаги, все ваши грязные, отпечатанные на машинке подлые приговоры, все ваши тюрьмы, старые, опутанные колючей проволокой деревянные бараки и модерновые, как в Америке, конструкции из бетона – разлетится всё...» Родион ощутил в себе такую уверенность. Всё, всё разлетится!» Это его озарило. Человек не в силах хотя бы на час ускорить приход весны, значит, надо пережить зиму; зато он знает, что времена года приходят и уходят. Надо верить и ждать: лодка готова, душа готова. А если ему не оставили времени, если до рассвета его самого задует как слабую свечку на ветру? «Я и есть свечка», – подумал Родион, представив себя одиноким в безлюдном месте, без товарищей, ничего ни о ком не знающим, сидящим на обломках перед самой тюрьмой... «А, ладно, плевать, всё равно будет утро...»

Из ворот госбезопасности вышла тёмная толпа и двинулась через площадь. С близкого расстояния Родион различил неясную массу оборванных арестантов в окружении солдат, державших палец на гашетке винтовки. Вокруг, высунув язык, кружила собака, загнанное, всю свою жизнь жаждущее животное, рабское животное, полицейское животное, обученное человеком травить человека животное для убийства. Толпа невольников отрезала путь людям, которые шли в клуб, чтобы развлечься, следя за похождениями на экране «Счастливого сапожника»: купил облигации выпущенного для построения социализма выигрышного займа, выиграл крупную сумму, и красивая соседка отдала ему своё сердце, и... Родион проводил глазами арестантов, охрану и полицейскую собаку, единственное существо, выделявшееся в этой массе заметной индивидуальностью: клыки, сверкающие глаза, разинутая пасть... «На той неделе мне идти таким же путём, – подумал Родион. – Я буду с вами, товарищи! Я уже целиком с вами...» Он не сомневался, что все арестанты были

жертвами: самые подлые – тоже жертвы и, более того, наши, после того как мы взяли этот мир в свои руки.

Где-то пробило восемь часов, больше никто не появлялся. За козами пришла девчонка, в густой синеве неба возникли звёзды, два окна госбезопасности одновременно погасли, потом у входа мягко вспыхнули прожекторы. Возникший из мрака часовой, держа оружие наизготовку, с регулярностью манекена, снабжённого часовым механизмом, бесшумно зашагал взад-вперёд по своему отрезку тротуара. Родион отчётливо видел машину, которая приводила в движение всю механику; она зажигала и гасила электрические лампочки над папками в кабинетах, она заставляла трезвонить телефоны, она возбуждала в сердцах – только не в его, нет! не в его! – тоску, она выбрасывала на чёрную площадь толпу одних невольников под охраной других, одних голодных, других с заряженными ружьями, включая и то, очеловеченное, с выхолощенными инстинктами животное, которому никогда больше не побегать свободно... Кто-то поворачивал рычажок, и красные солдатики приходили в движение; ещё щелчок – и по их черепам пробегал ток, они чётко приставляли ногу, наводили свои ружья, клац, клац, – и шедшие впереди заключённые сыпались в могилу. Другой рычажок – начинают катиться поезда, крутятся двигатели, буравить буры и вопить ораторы: *Слава Вождю! Слава нам, слава, слава...* – как в поэме Маяковского...

И снова Родион, уткнув подбородок в кулак, пропадал в ночи один на один с проблемами. Только теперь малейшие фибры его существа знали, что быть ему завтра в подвалах госбезопасности. Дмитрий уже там, старый Рыжик там, тысячи безвестных были там, жили там, умирали там без всяких сомнений, а он чувствовал, что его раздражает между одинаково горькими, одинаково верными, одинаково необходимыми, одинаково трудными «да» и «нет». Я согласен. Я не могу. Машине, если она начинает работать против человека, следует кинуть вовнутрь болт, и она сломается, она не более чем мёртвая железка. Машины бездушны, мы их породили, мы же имеем право их убить – сделаем другие. Я, Родион, понял это. Воля, как луч света, заставила его воспрянуть. На что мы надеемся? Чего мы ждем? Да мы с ума сошли от безропотности! Так жить нельзя, говорю вам, это невозможно, товарищи! Так нельзя умирать, если только нас не убивают. Ждать некого, кроме самих себя. «История, – говорит Гегель... – История – это мы, те, кто её делает, мы тоже, как любой бедняга, исторические личности...» Нельзя быть уверенным, что машина однажды остановится и рухнет сама по себе, она должна быть разрушена. Новая революция, уж её-то мы сделаем совершенно по-другому. Не могу знать как, но совершенно по-другому. А для начала от них надо убежать. Хватит.

Лёгким шагом он двинулся к месту встречи, где ждали Авелий с Варварой, чтобы провести вместе ночь перед тюрьмой. От твёрдой, покоящейся на чёрных камнях земли под ногами по его жилам поднималась первобытная, свежая, магнетическая и стойкая, ни на что не похожая энергия... Он шагал лесом по узкой дорожке, наполненной слабым светом Млечного Пути. И когда он уже приближался к товарищам, горячие и будто окрыленные слова, которые он им нес, потеряли свою убедительную силу; остались слова заурядные, легко опровергаемые такими же словами.

«Марксистская мысль, Родион, должна быть объективной. Диктатура, которая по отношению к пролетариату не что иное, как насилие и ложь, остаётся пока, несмотря ни на что, пролетарской, поскольку она сохраняет отношения собственности, созданные Октябрьской революцией...» Родион подавил в себе что-то вроде отчаяния. Неужели я обречён ничего не понимать? Ничего не знать? И всё его существо пронизала победная уверенность. Он отыскал Варвару с Авелием, прильнувших друг к другу между мшистых корней пихты. Он, скорее, угадал, чем увидел два неразличимых лица, настолько близких, что их дыхание смешивалось. Женщина необычно нежным голосом предложила ему хлеба. «Давайте», – весело сказал он, и было забавно в кромешной тьме ловить обеими руками руку, протянувшую ему ржаную краюху. Его глаза привыкли к бархатистой темноте под раскидистыми ветвями дерева. Можно не сомневаться, что разлитое повсюду мерцание звёзд

достигало и досюда, Родиону вдруг почудилось, что он видит узкое, гладкое лицо Варвары, на котором плавало неулыбчивое блаженство. Профиль Авелия погрузился куда-то между щекой и затылком женщины в тёплую плоть и волосы. Молчание затягивалось. Прошёл всего момент, но он был чернее чёрной бездны. Родион почувствовал, что земля холодна, хлеб горек, шатёр ветвей гнетущ. Авелий с Варварой где-то на земле потихоньку разговаривали о тюрьме, о жизни, о любви, о пролетариате и снова о тюрьме. Родион на миг прислушался к их шепоту – это было невыносимо... Тогда он растянулся в нескольких шагах на холодном мху, чтобы видно было лоскут неба между верхушками пихт. Сияние связывало между собой все звёзды, образуя чудесную световую ткань. Где кончается ночь, где начинается свет? Где кончается свет, где начинается ночь? Родион уснул с открытыми глазами.

На следующий день Авелий и Варвара сошли в уже знакомый им подземный мир, где люди живут в тихом безумии жизнью личинок... В затянутых колючей проволокой окнах – эти подвалы выдавались над уровнем почвы – не хватало половины стекол, а то, что осталось от окон, покрывала почерневшая многолетняя пыль. Двенадцать женщин тут, семнадцать мужчин там плавали в одинаково скотской жаре, вдыхая одни и те же затхлые запахи испражнений, убивая время в одних и тех же рассказах о невзгодах. Женщины по очереди ложились поспать на нары, от которых несло клопами. Когда подошла очередь, Варвара оказалась между тощей, остросулой женой рыбака, обвиняемой в спекуляции, и старухой в чёрном платке, обвиняемой в знахарстве и контрреволюционных разговорах. Последняя в первый же вечер сказала ей:

– Хочешь, я помолюсь за тебя, голубушка?

– Нет, – сказала Варвара, – спасибо, я неверующая.

– Ну не за тебя, так за твоего друга, – настаивала богомолка. – Чует моё сердце, что он в этом нуждается...

– Если хочешь, – ответила Варвара, пожимая плечами, но внутри у неё задрожало... •

В камере Авелия оказались местные воры, служащие кооперативов, рыбаки, спецпереселенцы и один тифлисский карманник, молодой бродяга, искусно рассказывавший замысловатые истории:

– 1-я часть: *Любовь*. 2-я часть: *Трагический сюрприз*. 3-я часть: *Надежда и отчаяние*. Завтра, товарищи-граждане, будет ещё три части для тех, кого нынче ночью не пошлют бесплатно на экскурсию в естественный планетарий, откуда никто не возвращался. *Аминь!*

Такие намёки метили в хмурых молодых парней, с которыми он имел, казалось, особые счёты, им грозила смертная казнь за неоднократное посещение в безлунные ночи складов закрытого кооператива для функционеров партии и госбезопасности.

Бродячий карманник знал изнанку всех крупных городов, погребки Майдана в Тифлисе, меченые карты, марафет, размалёванных, голых под платьями из ситца девочек, которых можно найти на Крещатике, на холмах чудесного города Киева, они полюбят в кустах за пятерку, если ты авторитетный – за тройку, и просто так, если ты вышел из тюрьмы! Он знал малины окрестностей Смоленского рынка в Москве, девочек с Неглинки, торгующих собой прямо на тротуаре возле нового здания Госбанка, интересные уголки Лиговки и Пушкинской в Ленинграде, часто посещаемые настоящими бандитами в кепках, такими, как Коля – Золотой Зуб, Артём-безногий, Пузатый Шайтан: «Этот-то братан давно уж расстрелян. Он был, в натуре, слишком толстый, чтобы спрятаться в эт' эпоху тощих людей, хотя мог сойти за крупного спеца... Да он и был крупный спец, в натуре: он бы разобрал и по кусочку сбагрил турбины Днепростроя...» Этот бродяга с суетливыми руками принял Авелия дружелюбно:

– Ведь ты же ж вольный и имеешь достоинство путешествовать в этом грязном ковчеге для собственного удовольствия... Как-нибудь вечером я расскажу тебе, исключительно тебе, какие сладкие марухи на малинах, эх! ты поймешь, это как сказка...

И тюрьма была как сказка, с её людским гомоном, с её скученными, разношерстными, порой страдающими от вожделения теньями, с её задушевными беседами, с её неизбежностью тесного сосуществования, с её страхом без страха, бурчанием в кишках, признаками цинги, расшатывающей зубы в деснах. Большинство заключённых были настолько слабы, что некого становилось послать дважды в день за баландой: требовалось через двор госбезопасности перейти с одной улицы на другую... Авелий регулярно напрашивался сам в погоне за единственной радостью, которой хватало, чтобы наполнить его дни и ночи до самого сна. Ибо путь лежал мимо Варвариной темницы, и в уголке разбитого окна его поджидали спокойные, освещённые солнцем полуночи глаза Варвары.

Четырнадцать, самое большое, восемнадцать дней было у Федосенко на то, чтобы сфабриковать дело; кроме того, в последнем случае его доклад не мог быть упомянут в месячной сводке госбезопасности. Он хорошо понимал, что с опозданием законченное и неиспользованное до партконференции дело теряло всякий смысл. Правила требовали от дела формальных доказательств виновности: признаний или обвинительных свидетельских показаний с тем, чтобы снять ответственность политического сыска перед Контрольной Комиссией партии. Документ Родиона представлял ценность только будучи дополненным, по крайней мере, свидетельскими показаниями. В довершение всего Родион скрывался в городе или в лесах. Будь он упрям, как все прочие, его всегда раскололи бы достаточно быстро. Рыжик и Елькин отказывались отвечать, пока им не предъявят обвинительное заключение, и требовали перевода в Москву. В ожидании этого они писали в Центральную Контрольную Комиссию партии. Их послания, прочитанные Федосенко, хотя он не имел на то права, были бесстрастно резкими. Свои имена они снабжали списком заслуг перед партией в тяжёлые годы, и уже одно это содержало возмутительный укор, далее, «давно предвидя, что недалёкий азиатский Бонапарт, бездумными и бессовестными лакеями которого вы сделали, будет вынужден ликвидировать партию пролетариата», они цитировали платформу оппозиции, решения съездов, партийные постановления, ленинские тексты, чтобы закончить богохульным обращением такого типа: «Что бы ты сделал ещё, Коба-Джугашвили-Сталин, завтрашний Каин, что бы ты сделал ещё, не будь ты, как Азеф, всего лишь орудием в руках какой-то буржуазной полицейской сволочи? Изгнанный из партии в 1907 за сползание к бандитизму с большой дороги, оппортунист в 1917, оппортунист, получивший оплеуху в последнем письме Ленина в 1923, противник индустриализации до 1926, апологет сельских богатеев в 1926, пособник Чан Кай-ши в 1927, виновник бесполезной Кантонской бойни, предтеча фашизма в Германии, организатор голода, гонитель пролетарских ленинистов...» Рыжик выводил эти строки, как и многие другие резкости, своим безличным, вдавливающим каждую букву в серую бумагу почерком. Написав одну фразу, Рыжик вскакивал и, жестикулируя, расхаживал по камере. Он взывал к Другому: «Коба! Коба! Прохвост! Что ты сделал с партией? Что ты сделал с нашей железной когортой? Ты, скользкий, как удавка, ты, вравший нам на каждом съезде, на каждом заседании Политбюро, подлец, подлец, подлец...» Другой, Могушественный, в блестящих сапогах и голубоватом мундире с маленьким Красным знаменем ЦИК, приколотым справа на груди, отступал перед ним мелкими шагами, преследуя его, Рыжик натякался на стену: Другой в 1919 – беспокойный восточный унтер-офицер с узким смуглым лицом, который мог отдать революции только свою твёрдую волю горца, свой ревнивый дух; им всегда управляли события или другие, более ясные умы; уже с тех времен он был желчен, отягощён подозрениями, злобой, вооружён коварством. И сегодняшний Рыжик, уже совсем не тот, каким был во время их братских, в доверии и опасности встреч в Царицыне, когда они вместе раздували мировой пожар, а старик с обескровленным лицом, серым ртом, одетый

среди лета в телогрейку и дрожа временами, безрезультатно донимал его: «Можешь ты мне, в конце концов, ответить? Кто тебе в одиннадцатом часу доставил провиант и боеприпасы, кто? Эх! сейчас ты хочешь, чтобы мы все передохли в твоих тюрьмах...» Рыжик замер перед грязной белой стеной, разбирая мелкую загадочную надпись, нацарапанную почти безграмотной рукой:

*Прокофий
рыбак
такой
Прими Господь его душу*

*Ветошкин
молодой*

– А этот, вот этот Прокофий, что он тебе такого сделал? И все ему подобные?

Сжав челюсти, Рыжик вернулся к столу и добавил к посланию одну фразу, которую Другой в своём Кремле обязательно прочел бы со стыдом и досадой...

...А пока от прочитанного злой тоской был охвачен Федосенко. Знали бы *там*, что он читал столь опасный текст, и, в самом деле, как его забудешь? Знали бы, что он уже не забудет. Помимо воли такие слова чётко, как невидимые гвозди, были вколочены в его мозги; они искажали, чернили обожаемый образ Вождя. Яд контрреволюции проник в мозг, но хуже, непоправимее всего было то, что об этом могли узнать *там*... Он запечатал конверт с обеими жалобами. «Передано в ЦКК партии без ознакомления, в соответствии с циркуляром от...» Эх, да кто в это поверит? Заключённые сдают свои письма незаклеенными.

Для Рыжика Федосенко велел привести в порядок сносную камеру со столом, стулом, кроватью и двумя разрозненными томами ленинских работ... «Погоди чуток, только получу хоть тень указания на твой счёт, увидишь, действуют ли на меня твои заслуги, я заставлю тебя хлебнуть лиха, злосчастья, солёной ухи...» Особо изощрённым коварством Рыжик компрометировал его, неукоснительно верного генеральной линии, чистого во всех помыслах, до смерти преданного Вождю – «Кобе, организатору голода, предтече фашизма в Германии...» – Федосенко вполголоса грязно выругался, заметив, что к высокому образу подсознательно лепятся мерзкие эпитеты...

Товарищ Кнапп, его непосредственное начальство, вошёл без стука, фамильярно.

– Ну, как там наше трудное дело? У нас, Алексей Алексеич, так мало времени...

Сутулый, плоскогрудый Кнапп на плечах старого туберкулезника нес морщинистую журавлиную шею, увенчанную ссохшейся головкой, где даже стёкла очков поблескивали пасмурно... Показывался он нечасто, оставляя действовать подчинённым, посвятив себя работе над докладами в Центр, которые составлялись им на специфическом языке бывшего германского пленного. На сей раз он был дружелюбен и разговорчив.

– Как закончите, Алексей Алексеич, мы вдвоём хорошенько поохотимся... гм... гм...

Федосенко ощутил шанс отличиться. Кнапп дал ему только одно указание, но выбрал для этого самый официальный, бесстрастный, сопровождаемый пасмурными бликами очков голос:

– Процедура должна быть скорой, эффективной и, разумеется, совершенно законной...

Удалился Кнапп бесшумно. Он погрузился в воспоминания до тех времен, когда был мелким служащим в канцелярии Нюрнбергской ратуши Готфридом Кнаппом, членом рабочей социал-демократической партии, который экономил в 1910-м, чтобы купить титцевскую мебель, до мобилизации, обстрелов, опустошений, реквизиций, Волги, Урала, Ташкента – одним словом, на тысячелетие. От подчинённых он требовал очевидного рвения, которое можно заметить. Для чего, спрашивается, такое рвение, которого никак не видно? Жизнь и так утомительна – давайте экономить наши усилия. Он никому не досаждал, сам будучи задвинут на мелкие северные должности по причине безрассудной симпатии к Кларе Цеткин, связанной с немецкими правыми: Брандлером, Тальгеймером, считавшимися в

Интернационале элементами сомнительными и впоследствии исключёнными. Время от времени Кнапп охотился. Его доставляли на «форде» до самой чащобы, куда он входил решительно, пустив впереди собаку. Два ординарца оберегали его, скрываясь в живой тишине лесов. Размашистой поступью Кнапп с полчаса шагал, почти не удаляясь от прямой линии. Он погружался в тишину, созерцал высокий муравейник, во все свои жёлтые зубы улыбался собаке, прибежавшей вилянием хвоста известить его о близости норы. «Не здесь, друг мой, рано». Животное смотрело на него дружелюбно, как больше никто в мире. И Кнапп начинал насвистывать сквозь зубы, всё сильнее и сильнее, наполняя строевой лес протяжными, восхищёнными руладами... Если бы в один из таких моментов его сразила меткая пуля, душа осталась бы где-то выше, где-то вне его мёртвого тела.

Кнапп пожелал допросить Елькина, из которого Федосенко выжал всего лишь две-три обидных насмешки.

– Мы с тобой старые партийцы, товарищ Елькин...

– Это точно, товарищ Кнепп...

– Извиняюсь, Кнапп...

– Нет, Кнепп, прошу вас, уважаемый товарищ, я не смогу произносить Кнапп, поскольку знал одну ползучую собаку, которая носила такое имя...

Елькин нарывался. Кнапп, скривившись, покачал головой.

«Подобие дохлой крысы», – подумал Елькин с насмешливым видом.

– У вас есть заявления?

– Нет.

– Жалобы?

– А как же! Куча, которую вы должны были получить в письменном виде. Ваше заведение совершенно не на высоте социализма, гражданин начальник. Взять хотя бы клопов.

– Знаю. А мы с вами, думаете, на высоте социализма?

– Я – да. Вы – нет. Сомневаюсь, чтобы вы были хоть на градус выше императорской полиции...

Кнапп бросил на него неопределённый взгляд. Реплики этого человека восемнадцатого года, извлечённого из камеры тридцать четвёртого, нелепым образом напомнили ему молодость, летучие отряды чека, грозные дни и ночи, энтузиазм веры в самого себя, в право владеть миром – и многое другое, давно стёртое в душе...

– Занятная личность, – устало, сквозь зубы произнёс он. – Ладно. До свидания.

– Все эти пустые формальности так утомительны, не правда ли, товарищ Кнепп? – добавил Елькин с самой язвительной снисходительностью, которую мог на себя напустить.

Арест Родиона не дал ничего нового: было и без того ясно, что он сдастся сам, оппозиция дисциплинирована, один за всех и все за одного... Он, действительно, явился. Сухо встреченный Мозгляком: «Что вам угодно?» – парень сказал:

– Зашёл спросить, как там мои товарищи.

– Но у них всё хорошо. У нас все чувствуют себя очень хорошо, – ответил Мозгляк, несмотря ни на что, видимо, веривший в это. – Впрочем, сами убедитесь...

Он проводил Родиона в подвальный изолятор, где чёрный камень был гол; вечные сумерки проникали туда через зарешёченную отдушину. Выше, снаружи, ходил часовой; слабый шум шагов оповещал о прохожих, и смутные их тени на мгновение закрывали пейзаж в серых тонах.

– Как видите, гражданин, – сказал Мозгляк, – воздух у вас есть.

Потеряв десять дней, Федосенко был близок к тому, чтобы потерять и голову. Упирался даже Костров, несмотря на свои заверения в лояльности, несмотря на большое сердце, отсутствие вестей от жены и дочери, несмотря на смрадную камеру, где его оставили один на один с несчастным, умиравшим в собственных испражнениях. Лохматый, с отечным, желтушного цвета лицом, с ячменем, всплывшим на правом глазу, он старел на глазах. Дни свои он коротал, валяясь на соломе как можно дальше от соседа, двигаясь как можно меньше, чтобы сберечь уходящие силы. Федосенко в последний раз велел привести его в свой кабинет.

«Теперь-то я его расколю, или дело швах и моё продвижение тоже».

– Садитесь, Костров. Ах! у вас неважный вид. Весьма вам сочувствую. Если я обхожусь с вами сурово, то только потому, что у меня приказ. Когда Республика переживает переломный момент, ей не до того, чтобы ублажать двурушников. С откровенными врагами мы обходимся лучше, они заслуживают некоторого уважения и потом с ними всё ясно. Может, они отсюда никогда не выйдут, как не отдать им единственную проветриваемую камеру, согласны?

В ваших же интересах, Костров, обращаюсь к вам в последний раз. Слушайте меня хорошенько: шанс, который я вам даю – последний. Заявите мне: я – троцкист, и откажитесь отвечать. С вами немедленно начнут обращаться лучше, я закрою дело, завтра же вам пришлют врача. Такого признания с вашей стороны мне достаточно. Естественно, с вами будут обходиться с повышенной строгостью за то, что вы нас так долго обманывали. Но тюрьма вас не страшит, я знаю.

(Для Федосенко это было бы лучшим подарком: неожиданная удача с разоблачением годами маскировавшегося оппозиционера, короче говоря, мастерский ход...)

– Качаете головой? Отказываетесь? В таком случае, попытаюсь поверить. Говорю с вами как товарищ по партии. Я – большевик на своём посту, как и вы. Вас пытали в Румынии? Меня кололи кинжалом в Закаспии. Мы выжили для общего дела. Здесь мы с вами ради социалистической родины. Да закурите же. Берите всю пачку, это вам с собой... Я незамедлительно вручу вам добрые вести от жены и ребёнка. Прежде чем допрашивать, доведу до вас некоторые секретные данные...

Костров воспрянул. Если здесь ему приготовили какую-то новую пакость, то, по крайней мере, в голосе этом были человеческие нотки. А он сказал правду – мы члены одной партии. Далёкие, странно уменьшенные образы Ганны и Тамарочки промелькнули в его уме. Живые – и та, и другая. По жилам пробежали яркие блёстки. Федосенко опутывал его доверительным голосом:

– Вы и не подозреваете, что происходит в деревне. Сопротивление крестьян коллективизации считается преодолённым? Помилуйте! Вот вам несколько закрытых цифр о поголовье скота, о посевах, о социальных преступлениях в деревне. (Тут, заинтересовавшись, Костров вставил вопрос.) В самом деле, положение оказывалось неожиданно серьёзным. Как врут газеты! (Констатация, которая ничего не дает.) С другой стороны, приготовления Японии и Германии, состояние транспорта, ситуация с золотым запасом страны, непрекращающийся саботаж в Донбассе, Костров, вы улавливаете, в конце концов, до чего мы дошли?

Костров, совершенно оправившись, сказал:

– Да.

– Всюду опасность. Могущество пролетарского государства подорвано ниже ватерлинии, поэтому подобные вещи, которые обезоружили бы любую оппозицию, невозможно

публиковать, в этих обстоятельствах Вождь остаётся единственным собирателем сил партии, и не важен его личный характер, не важны теоретические разногласия и действия, принадлежащие теперь только истории. Его личный авторитет – это наш главный шанс на спасение, разве вы, Костров, ветеран партии, этого не видите? Неужели вы настолько озлоблены личными неприятностями?

– Нет, – сказал Костров с усилием. – Товарищ Федосенко, прошу вас... Ведь именно по этой причине в 1928 году я заявил о своей преданности Центральному Комитету... я...

Федосенко позволил ему встать, неверной походкой пьяного человека обойти комнату. Как грязен был он! В волосах солома, затылок зарос седыми космами... Федосенко настиг его в углу, между сейфом и дверью в приёмную, бережно прислонил к стенке.

– Вы, Костров, ещё не знаете всего... И такой момент для устройства заговоров выбирают безумцы из крайне левых, эти несознательные, делающие, вопреки себе, невозможное, чтобы возбудить против Советской власти отсталые и недовольные массы... Ваши здешние товарищи, все эти Рыжики, Елькины...

Сведения по Канской, Минусинской, Тургайской, Краснококшайской ссылке, вкуче с докладами начальников централов полит-заключения, позволяют прикоснуться к обширной, разветвлённой по всему СССР, связанной с зарубежными центрами подпольной организации...

Они честны, в них есть революционный пыл, мы понимаем это, как и вы, Костров. Но от этого становятся ли они менее опасными? И вот, я спрашиваю, с кем вы? С ними, с нами? Коли с нами, надо немедленно мне помочь. События в Чёрном большого значения не имеют, но я обязан представлять всё ясно. Что за тезисы они обсуждали? Об этом вы должны бы знать от...

– Ну, разумеется, Верхнеуральские тезисы, тезисы «Бюллетеня» о ликвидации слабо оснащённых колхозов, об авантюристическом и эксплуататорском духе, определяющем индустриализацию, об «Алеанца Обрера» в Испании...

Они не вышли за рамки беседы об идеях, но одно только упоминание о Верхнеуральске обвиняло Варвару, устанавливая связь с федерацией левых в политизоляторе; упоминание о «Бюллетене» позволяло выводить эту связь до Принкипо, Берлина, Парижа; «Алеанца Обрера» – что такое? – итальянское или испанское, во всяком случае, что-то касающееся Коминтерна... Федосенко потирал бы руки, если бы в его игре не требовалась осторожность. Расследование принимало чудесный оборот...

– Не называйте никаких имён, если предпочитаете так, Костров, я уважаю вашу щепетильность. Уточните идейную сторону. Я записываю...

Имя Родиона всё-таки всплыло через два часа в детальных показаниях М. И. Кострова о нелегальной деятельности троцкистского центра в Чёрном. Истощённый умственным усилием, Костров обеими руками держался за голову; он ещё надеялся, что не сказал ничего компрометирующего кого бы то ни было – идеи эти не были новостью, но физическое отвращение к самому себе вызывало у него спазмы. Возможно, это было просто от голода. Федосенко позвонил. Он тоже чувствовал себя разбитым. Явившемуся Мозгляку негромко приказал:

– Велите устроить ему баню. Щей из котла караульной команды. Чистую камеру.

Мозгляк ответил по полной форме:

– Есть, товарищ начальник. Разрешите доложить, товарищ начальник, о требовании задержанного Родиона, добровольно явившегося сегодня утром. Он требует сделать признание, товарищ начальник.

– Чего?

– Так точно, товарищ начальник, всё, как я сказал.

Костров уносил в руке невесомый кусочек картона: почтовая открытка с московским штемпелем, почерк Ганны... Однако внутри не шевельнулось никакого волнения. Выбившийся из сил и будто исчерпавший самого себя, он направился в подвал. Его любезно опередил Мозгляк. «Нет, гражданин, не туда, позвольте...» Сюда, туда, эка важность? Спать. Хватит.

Федосенко велел отпереть камеру Родиона. Всю её, с низкими сводами заполнил он своим огромным ростом. Приземистый парень, сжавшийся на соломе, медленно поднялся, отряхивая колени кончиками пальцев. В его маленьких зелёных глазах сквозило то ли лукавство, то ли веселье. Не приветствует. Значит, не деморализован. Тогда что? Федосенко окинул взором чёрный камень, отдушину, соломенную подстилку, Родиона – снизу доверху: от разбитых сапог и курточки каменщика или возчика до курносого, неприятного, ершистого лица – из мелких крестьян, которых у нас великое множество; раса крепостных: бродяги, сезонные рабочие, солдаты – все на одно лицо под серой робой, двоюродные братья кули, кишением которых наполнена Азия...

– Здравствуй, ты, паренёк, – с трудом выговорил наконец Федосенко, ибо он по-прежнему ничего не понимал.

– Здравствуй, ты, гражданин начальник, – ответил Родион с легкомысленной улыбкой.

С самого начала в его пользу. От тыканья у Федосенко побагровела шея.

– Хотите сделать заявление?

– Ну, да. – Не вынимая рук из карманов, Родион ответил, что готов сделать это в письменном виде. Короче, он берёт на себя всю ответственность...

– За что? – спросил Федосенко.

– За всё. Я один всё сделал... Я признаюсь.

– Всё, это что?

– Тезисы – это я. Я получил информацию. Я – связь с... Не скажу с кем. Группы не было, был я – организатор. Больше ничего не скажу...

– Да ты с ума спятил, мальчишка! – едва не взревел растерявшийся Федосенко. В его мускулах закипал гнев. Показания Кострова, плод такого труда, прямо обвиняли одного Родиона, и вот – Родион сознался. Теперь имеется только дурацкое дело Родиона, да над ним смеются. В один миг этот парнишка, врущий прямо в лицо, выхолостил прекрасное дело...

– Зачем ты врешь? – прорычал Федосенко. – Сучий выродок!

Он на целую голову возвышался над ним, и весь серый свет из отдушины собирался на его волевом подбородке; ему хотелось шагнуть к Родиону, грубо прижать к чёрному камню, взять за тонкую ребячью шею и научить червяка слушаться! Но он не двигался, а Родион не отступал. «Я запрещаю вам мне тыкать», – твёрдо сказал Родион.

– Ах! ты врешь! Ах! ты сознаешься! Ах! ты мне запрещаешь!..

Все три междометия яростно столкнулись в мозгах Федосенко, но выдохнул он только одно – ха! – и послал прямо в лицо Родиону свой тупой кулак... Обоих шатало: одного – от усилия, другого – от удара и боли в расквашенных о зубы губах. Стены из чёрного камня, отдушину, низкие своды плыли по кругу, но оба, мертвенно-бледный парнишка с пронзительным взглядом и красный, тяжело дышащий начальник ГПУ, приходили в себя, оставаясь лицом к лицу...

– Уведите это хамло, – тихо сказал Родион кому-то, наверное, Мозгляку, который должен был стоять там, позади Федосенко, на выходе в коридор, значит, Мозгляк видел...

– Ах! ты меня оскорблять, меня!

Гигант Федосенко бросился на Родиона, согнул его, сбил с ног, ощутил в кулаке шевелюру, затылок, под коленями – бок, потом живот... Всем своим весом он навалился на это безответное тело, он молотил его обеими руками, вслепую... «Товарищ начальник, разрешите обратиться...» – Голос Мозгляка вернул его в себя, поставил на ноги, отрезвляюще напомнив о форме. Весь он был в соломе, колени в штукатурке, откуда здесь штукатурка? – вот что было странно, костяшки пальцев в ссадинах и крови. Кругом летали искромсанные листы дела. Родион казался без сознания. Мозгляк закрыл дверь.

...Родион ни на миг не терял обостренной до крайности ясности. Он всего лишь исполнял долг: необходимость. Снять с товарищей обвинение. Сбить с толку следствие. Бросить вызов злой силе. Сдаться. Он чувствовал в себе достаточно невесть откуда взявшейся силы, чтобы биться с кем угодно. Он сразил великана Федосенко. Опрокинутый, истерзанный, с перепаханым ударами телом он даже не стонал, одолеваемый сумбурными мыслями. Бей, хамло, больше ты ничего не можешь. Такую мысль жевали окровавленные зубы, но дальше в глубине зияющего безмолвия царило чувство силы. Я способен на всё, даже сдохну здесь, под твоими сапогами как победитель. Когда задвинулся засов, Родион закусил рукав. Из груди вырвался сдавленный вой, не стон – нечленораздельный звук, как у волков, когда от снежных ночей и голода в них вопиет вся тоска земли.

Каждый год с приближением посевной власть стремится ублажить крестьян. На сей раз циркуляр из центра в марте предписал местному начальству разрешить (что означало организовать...) открытие заново некоторого количества церквей, «не высказывая, однако, поощрения возобновлению религиозной деятельности». Два месяца спустя «Безбожник», официальный орган руководимого старым членом Центрального Комитета атеистического общества, выступил против этих симптомов возрождения религиозности. Компетентный отдел НКВД по запросу Центральной Контрольной Комиссии удостоверил, что процент вновь открытых церквей на 0,3 % ниже, чем предусмотрено по плану. Руководитель отдела был незамедлительно переведён на другую работу: наверху пожелали, чтобы намеченный процент был превышен. Генеральный секретарь по этому поводу обронил: «Э, пусть крестьяне молятся чуть больше или чуть меньше, нам на это наплевать, лишь бы сеяли!» Таким образом, «Безбожник» не добился от ЦК разрешения на широкую постановку вопроса. Тут один из секретарей отдела агитации и пропаганды подал мысль: «Возьмитесь лучше за секты, госбезопасность давненько не заглядывала в этот угол...» Тотчас появилась серия статей в маленьком иллюстрированном журнале с плохо отпечатанной обложкой печального серовато-зелёного цвета. На ней смеющийся папа в тиаре вручал польскому генералу бомбу с тлеющим фитилем... Статьи третьей страницы сообщали о *возрождении контрреволюционных сект*. Кнапп пробежал их потухшим взглядом в парикмахерской. Но через три недели «Правда» одобрительно воспроизвела семь строк второй из этих статей. Центральный орган партии Кнапп читал от корки до корки, в особенности между строк. «Ах! но...» Он позвонил секретарю и потребовал представить ему завтра детальный доклад о религиозных сектах района. «Есть, товарищ начальник!» А пока Кнапп должен был заниматься высланными сионистами, которых телеграммой было предписано арестовать и под конвоем переправить в областной центр. Двое или трое их было? Относительно двоих – никаких сомнений. Третий, верный генеральной линии, коммунист, читавший курс в педагогическом институте, исключённый, посаженный и высланный по делу о растрате, с первыми двумя не водился. В деле этого благонаправленного и дисциплинированного Иаксона были сведения, что он автор ряда статей о сионизме, опубликованных в партийном органе. Из пущей предосторожности Кнапп велел арестовать и его: в области разберутся, отпустить или нет. В завуалированных выражениях Кнапп передоверил свои сомнения областному центру. Два настоящих сиониста, студент-еврей из Киева и старый разорившийся торговец

из Бердичева, в подвале госбезопасности приняли Изакона смехом. Прежде они демонстративно отворачивались, встречая его на улицах Чёрного. В тюрьме же рассматривали в упор: жидкая борода, мятые мешки под глазами, болезненный цвет лица. А вот он отвернул голову.

– Как здорово вы продвинулись, – сказал ему студент, – после того, как предали еврейскую нацию и написали против нас столько пакостей... А?

Педагог подавил внезапное желание застонать, но ответил нравоучительно:

– Желаю вам, юноша, однажды понять, что спасение еврейского пролетариата в социалистической революции, что сионизм – идеология буржуазная и коррумпированная, ja, ja, eine korrumpierte kapitalistische Ideologic... А сейчас, попрошу, не обращаться ко мне с вашими речами...

Сионисты презрительно отвернулись и завели между собой долгие дебаты о происхождении, причинах, формах, моральных и социальных последствиях предательства некоторых гнилых элементов еврейской нации, ах! совершенно гнилых, «как мёртвая рука прокаженного, как провалившийся нос при сифилисе...» Они продолжали эту ужасную беседу беспрерывно, если только не спали, в течение сорока часов. Изазон, не говоря ни слова, с хмурым сморщенным лицом, которое он считал невозмутимым, но оно было мягким, как у тряпичной куклы, слушал их. Прошли сутки с половиной, отворилась дверь, и вошли христиане.

Поверхностное дознание открыло Кнаппу, что в Чёрном имеются приверженцы многих опасных сект, созданных главным образом бывшими ссыльными, отправленными на Чёрную кто старым режимом, кто новым. Для выяснения их политической сознательности Кнапп велел арестовать двадцать трёх самых подозрительных. Среди них оказалось два старых сапожника-скопца; у одного нашли деревянный ларчик, где вместе с ножницами и ножом лежал завёрнутый в старую пожелтевшую тряпицу совершенно высохший мужской член. Кого там только не было: какая-то древняя старуха, знававшая отца Илиодора и уже прослывшая в лагерях святой, она продавала на рынке собственноручно плетёные ивовые корзинки, и люди её почитали; кустари обоёго пола из секты хлыстов, изгнанные тремя годами раньше с Байкала, куда они пришли шесть лет назад после изгнания с Урала; наконец, баптисты, самые многочисленные, поскольку, завязав переписку с Америкой, получили доллары на строительство в Сибири Города Солнца, эти походили на обыкновенных рабочих, но не пили и не матерились – факт совершенно из ряда выходящий; был арестован даже один из молчунов, могучий рыбак лет сорока с ухоженной бородой и кроткой улыбкой, который не разговаривал никогда, кроме как во сне, так что близкие даже стали считать его немым, только он слышал всё, в глубине его глаз таилась лукавая серьёзность, именно таким, скрестив на груди руки и степенно кланяясь, движением головы показывая, что умеет читать и писать, но не хочет ни читать, ни писать, он и явился в кабинете Кнаппа...

– Люди средневековья, – заметил Кнапп Федосенко, ибо они-то чувствовали себя людьми научной эры.

Приходилось вести столько дел, что переутомлённый, с восковым лицом Кнапп спал пять часов в сутки. По ночам заместители приступали к арестам. Дело о солёной рыбе потребовало забрать пятерых руководителей и двадцать рабочих рыботоргового объединения. Тридцать тонн отправленной в область солёной рыбы сгнило по причине недосола. Объединение с оправдательными документами на руках утверждало, что своевременно, но безрезультатно требовало от Госсольтреста хотя бы серой соли. От потребного были поставлено менее 40 %, из чего добрую половину рабочие растащили и сбывли мелким рыболовецким артелям, чей посол оказался съедобнее. Откуда тогда исходила соль, пущенная в спекуляцию на рынке? Следовало бы арестовать ещё двоих служащих соляного треста, но те, почуяв опасность, скрылись, оставив на дверях своей лавки корявую

записку красными чернилами: «Соли нет». Три попавших в поле зрения мелких рыболовецких артели повода для расследования не давали, хотя задолжали и Госбанку, и налоговому управлению, из месяца в месяц задерживая платежи, но подводить их под конфискацию было сомнительно, ибо означало лишь разорение рыбной ловли, чтобы пустить с молотка какие-нибудь старые сети, которые за бесценок скупило бы Рыбобъединение... Кнапп велел взять артельное начальство в связи с ущербом, нанесённым государству плохим финансовым руководством. Чисто для проформы, поскольку собирался вести только дело о соли, интересное тем, что его можно было связать с саботажем распределения вообще... Захлестывали ещё два дела, возникшие одновременно. В нефё церкви Святого Николы, куда проникающий через дырявую маковку ветер нанес столько пыли, что на плитах начала расти трава, были взломаны хранившиеся там ящики с галантереей, грабительскую операцию организовали транспортные рабочие в сговоре с охраной складов – девятнадцать арестов... В тот же день обанкротилась рыбокопильная фабрика имени Кагановича. Ревизия по предписанию Контрольной Комиссии партии вскрыла неплатёжеспособность предприятия, Госбанк, по первоначальной оценке, потерял восемнадцать тысяч рублей, чтобы спасти фабрику, требовалась вдвое большая дотация... От этого рухнул годовой финансовый план района и впал в бешеный гнев секретарь райкома. Вот как фабрика выполняла план, спущенный из области: кредиты на переоснащение и амортизационные фонды использовались на текущее производство; теоретическое содержание ящиков с конечной продукцией было завышено на 20 %... Улавливаете? Сверх того, пятую-шестую часть всей продукции систематически разворовывали рабочие. Тридцать пять арестов. Дело пахло осложнениями: теперь фабрике не хватало и кредитов, и рабочей силы, рыбацкие артели продолжали между тем поставлять сырьё, рыба портилась, рыбацкие артели требовали возмещения, прокурор звонил в райком, райком – Кнаппу, Кнапп – в область, областные органы – в облплан, план – в контроль, контроль – в райком... Хорошо бы упечь и директора Госбанка, мимо которого не могло пройти незаконное использование предоставленных кредитов, к тому же он одобрил представление директора фабрики к премии в размере 3000 рублей за досрочное выполнение годового плана. Но начальник экономического отдела госбезопасности не хотел брать на себя инициативу ареста, и Кнапп не решился отдать такой приказ: если всё начальство района пойдёт за решётку, могут спросить, а почему он спал до сего дня? Директор банка, прослышав об аресте фабричного директора, наката на друга разоблачительный донос со ссылкой на свой же, рассчитанный на то, чтобы пройти незамеченным, заблаговременный лицемерный сигнал. Этот плут принял меры предосторожности. И Кнапп поздравил его. Троцкисты, сионисты, сектанты, рыбаки, фабричные рабочие, управленцы и директора предприятий – через три дня потребовалось сверх нормы разместить более сотни задержанных... Толпы жён несли узелки со съестным к окошечку госбезопасности. С девяти утра до семи вечера они терпеливо ждали, длинной вереницей прилепившись к стене на площади, и город говорил об этом, не удивляясь. Да, арестовывают, ночи напролет арестовывают, ах! конца-краю нет, как прошлый год в это же время, помните – дела о саботаже в снабжении, в распределении, в рыбной ловле – сажали всех подряд, так что ночи напролет приходилось сажать, ах!

– Чёрное? – говорил Кнапп. – Это настоящий передний край...

По службе больше всего от этого страдал комендант. Подвальные помещения и камеры, рассчитанные на пятьдесят задержанных, уже два дня вмещали двести двадцать семь. Куда сажать новые сотни арестантов, куда? Были же правила изоляции: одних ни в коем случае нельзя было помещать с другими... Комендант заметался.

– Куда угодно, – отрезал зарывшийся в дело фабрика-банк Кнапп, – но вы отвечаете за всё. И баста!

У коменданта возникла идея. В прежней, превращённой в гараж, конюшне стояло всего две старых сломанных машины; в ожидании перевода в тюрьму там можно не хуже, чем в другом месте, уложить на пол пятьдесят субчиков. Конюшня представляла собой ветхий

дощатый сарай, отделённый от подсобных помещений госбезопасности и окружённый колючей проволокой, чтобы шофёры не воровали бензин... Разумеется, разместить там лучше арестантов поспокойнее, которые не бегают, не дерутся: политических, управленцев, сектантов – народ рассудительный.

...Родион застал новое узилище уже заполненным. На земле вокруг двух старых машин сидели странно чистые и спокойные рабочие: христиане, баптисты, хлысты, скопцы... Родиону не пришлось никого расталкивать, они сами вежливо отстранились, давая ему место. Лечь он решил подле дощатой стены под одним из «фордов».

Соседями оказались: слева – молодой еврей, справа – бородатый рыбак лет сорока, одежда которого не пахла ни рассолом, ни рыбьими внутренностями.

– Ссылный сионист, – представился молодой еврей. – А вы, товарищ?

Бородатый рыбак, в свою очередь, на вопросы отвечать не стал, но всё его лицо осветилось улыбкой, и он долго кивал головой. «Все мы человеки, какая разница?» – по крайней мере, Родион понял его так и не особо настаивал.

– Что такое Сион? – спросил он задумчиво.

– Свет на горе, – важно молвил молодой еврей, – надежда, спасение, возрождение народа израилева, наш социализм, ожидаемый со времен рассеяния...

Сделалась ночь, но они все разговаривали. Бормотания в гараже мало-помалу стихли. Какой-то мотор урчал поблизости за дощатой стенкой, казавшейся Родиону совсем тонкой после подвальной кладки. Приподняв голову, он прикинул глазом к щели меж досок и отчётливо увидел ночь, край крыши, немного сказочного тёмного чистого неба... И снова лёг неподвижно, заложив руки за голову, терзаясь безмерным смятением. Как близок ночной простор!.. Он плечами ощутил холод земли. Пошарил рукой по перегородке и кончиком пальцев нащупал под досками рыхлую почву. Пальцы сами собой ушли в мягкую как пух землю. Он лежал на боку, рука, как хитрое животное, буровила землю почти под головой рыжебородого рыбака, спавшего с полуоткрытыми прищептывающими губами: молчун нарушал обет только во сне. Родион рыл, не спуская с него глаз, и вот без особых усилий его рука вышла по ту сторону и там разжалась. Вольная звёздная ночь освежала ладонь... С этого момента Родион перестал думать, как будто закрыл глаза на самого себя, но всё его существо обрело такую, чуткость, будто он начал воспринимать окружающее другим, кожным, прежде дремавшим зрением... Накупавшись в этом умопомрачительном воздухе, рука его ухватила за кромку податливую доску, Родион осторожно, настойчиво, но без шума пошатал её. Старые ржавые гвозди вышли из гнезд – это угадывалось. Движения были точными. Ничком, вспахивая подбородком землю, он давил в темноте на доски, используя лоб как таран; раздался треск, но один из спящих перестал стонать, поднялся и начал шумно мочиться в бочку. Родион двинул посильнее, чтобы предполагаемый треск естественно слился с журчанием струи. Доска отошла, он придержал её обеими руками, и в лицо свежестью пахнула ночь. Он огляделся. Сзади наполовину прикрывал «форд». Молодой еврей спал, нет, притворялся спящим, всё слыша, всё понимая. Прикрытые веки трепетали, дыхание было стесненным. Родион угадывал пот у него на лбу, на носу. «Прощай, товарищ», – сказал Родион про себя. Пути Сиона, как и пути пролетариата, лежат через бесконечные тюрьмы... С другого боку Родиона встретил настороженный взгляд Молчуна. «Закрой глаза! Спи!» – выдохнул Родион с властной дерзостью. Почти неуловимым движением век Молчун изобразил «Нет». Родион испугался. Не подымаясь, Молчун всем своим крупным телом повернулся к нему, протянул руку, нащупал отведённую доску, оторвал её до конца и сделал головой знак: иди. «Идём», – шепнул Родион. Тут борода вроде шевельнулась. Нет. Зачем бежать мне? Куда бежать? Но ты, если вольная ночь зовет, иди. Следуй велению сердца, и помогай тебе бог! Эта мысль была лишь молчанием, но она пронзила молчание. Родион ужом устремился в лаз на месте оторванной доски. Молчун одной рукой поддерживал доску,

другой – подталкивал Родиона сзади. Абсолютно чёрная земля, ночной воздух в ноздрах и в ушах, мерные удары сердца в груди. Резануло по животу – ай! – вроде колючая проволока. Рука Молчуна наугад скользнула под него, отцепила и прикрыла снизу... Снаружи Родион встал сначала на колени. Как кристаллы с абсолютно чёрными гранями, выделялись на фоне сияющего неба соседние строения. Полная тишина. Родион побежал, перелез через стену, чуткой тенью проскользнул под вышкой с часовым, и вдруг его лёгкие наполнила небывалая свежесть. Излучина Чёрной мерцала где-то под ногами между линией скал и линией леса как начало всего.

Галя встала раньше всех, чуть свет, надо было наколоть дров, сходить за водой на реку, растопить печь, развесить замоченное с вечера белье, почистить рыбу, испечь хлеб, приготовиться к новому дню... Стройная, чуть бледная со стянутыми красной косынкой волосами, она вышла, накинув жакетку и вооружась топором. В небе таяли последние звёзды. На земле рассеивались синие тени. Красная косынка молодой женщины была единственным цветовым пятном в этом призрачном мире. Цвет был при ней, но она его не видела. Первый час ежедневного одиночества: комок в горле, руки опускаются. Надо жить. Колоть дрова, носить воду, невзирая на рану в сердце, несмотря на то, что подташнивает и веки припухли из-за бессонной ночи с думами о Димитрии и плачем о самой себе от дум о Димитрии. Она выбрала чурку, поставила её на попа, подняла топор... В глубине двора шевельнулись кусты. Кто-то подавал знак странно тихим отрывистым посвистыванием. Галя вообразила было, что это Димитрии зовет её. Судорожно свело рот. Всего лишь Родион.

– Я сбежал, Галя! Сам не знаю, как вышло. Елькина, наверное, отправят в Москву. Не надейся ни на что: с ними лучше совсем ничего не ждать, наберись мужества. Я есть хочу, найди чего съестного. Мне придётся дня три-четыре где полев, где лесом добираться до Белой, пойду кружным путём, наверняка будет погоня. Скорей, Галя, время не терпит, я голоден, голоден.

В голосе его была радостная дрожь. Он ждал в кустах, пока Галя лазила в подпол. С каждой секундой и в нём, и на земле становилось всё светлее. Галя вернулась с целым богатством в руках: хлеб, несколько луковиц, сушёная рыба, зелёное яблоко, спички, нож, десять рублей – всё, что у неё нашлось.

– Держи, вот паспорт моего брата... Давай быстрее, пока совсем не рассвело... Постарайся перейти брод с лесорубами...

Она набивала ему карманы, счастливая хотя бы дотронуться. И он чувствовал себя переполненным пока незаслуженным счастьем, за которое ещё предстоит отплатить.

– Я сделаю, Галя...

– Что ты сделаешь, Родион?

Прямая, с напряжённо открытым ртом, она жадно смотрела на него большими серебристыми глазами.

– Обещаю, Галя...

– Что ты обещаешь, Родион?

– Обещаю и тебе, и им, обещаю всем вам...

Что именно, он, выбитый из колеи какой-то бесповоротностью, сказать не мог, не в силах выразить мыслью или словами того, в чём был наконец почти уверен.

– Прощай, Галя, спасибо тебе.

– Родион, Родион, радость-то какая и какая беда...

Гибкими и нежными своими руками она вдруг взяла его за голову, притянула к себе, крепко обняла, и он почувствовал, как она целует его в волосы, как тёмные Галины губы ищут его лицо... Ему послышался шепот: «Прощай, Родион, прощай, прощай, прощай, прощай... Будь твёрже, Родион, всё в твоих руках... Не бойся. Иди, как решил, Родион... Помогай тебе бог. Иди, мой Димитрий, Димитрий, Димитрий, иди...»

Родион ушёл, Галя подняла упавший под ноги топор. Для неё было спасением взяться за него покрепче и ощутить в руке тяжесть. Решительным шагом она возвратилась к дому. По бледному лицу одна за другой, не переставая, катились слезы. Она бросила беспощадный взгляд на сверкающее росистой белой корой полено и расколола его с одного удара.

Районный начальник товарищ Кнапп как перед крупной операцией собрал в два часа дня в своём кабинете начальствующий состав отделов.

Там оказалось семь гимнастеров, четыре пары очков, семь револьверов установленного образца; было два тощих, один толстый, один орденосец, один лысый и Мозгляк. Толстый, Федосенко, был до поры неразговорчив, важен как никто, но сдается глухим беспокойством: накануне начальство затребовало сведения по главному из текущих дел. Не хватало начальника угро, рыскавшего по окрестным лесам в поисках Родиона, и его помощника, затерявшегося ещё дальше в преследовании бандитов: последнему предстояло вернуться на носилках с головой отдельно от тела. Едва ударило два часа, бодро явился Кнапп; без рукопожатий дав окружающим знак: сидите, товарищи. Было отмечено его землистое лицо, сжатые ноздри и, скорее, блуждающий, нежели бегающий взгляд. Вместе с ним возник холодок. Он сел за стол, в кресло. Секретарь, молодой служака с усиками как у Чарли Чаплина, обычно оживлённый, но сегодня стухавшийся, подал ему отпечатанный на машинке листок и блокнот. Кнапп, сутулясь, откашлялся. Острые плечи, прямая, худая и морщинистая шея, плоская грудь. Заскорузлое старое существо, то ли аскетическое, то ли больное, уставшее, без сомнения, от самого себя в состоянии медленного самозасыхания... Его молчание было столь гнетущим, что начальник экономического отдела, куривший, развалившись в кожаном кресле, затушил едва раскуренную папиросу о паркет. Новый комендант (его предшественник с позавчера, после побега Родиона сидел в тюрьме) струхнул, сделал жест удавленника, пытаясь ослабить ворот гимнастёрки. Кнапп, применяя в отношении к подчинённым приёмы, удававшиеся ему в своё время на допросах с арестованными, затягивал ледяное молчание. Вряд ли он дышал. Наконец, поднял голову с тусклыми, как цвет лица, очками:

– Товарищи начальники и замначальники отделов... (*Пауза*). Сегодня я собрал вас по крайне важному, затрагивающему честь госбезопасности и наш партийный долг делу...

От столь торжественного вступления у всех перехватило дыхание. Плечи Мозгляка передёрнул нервный тик. Начальник внутренней службы совершил над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы не побледнеть, он предпочёл закашляться. Боже мой! Что если у него на складах раскрыли недостачу, что если... Подобная мысль вертелась во всех головах: «Кто из товарищей по работе та скотина, которая настучала на меня за...?» Кнапп не соизволил проследить произведённый эффект по лицам. Больше никто не курил. И Кнапп сказал:

– Товарищ Федосенко.

Обычно названный отвечал вполголоса: «Товарищ начальник...», не двигаясь с места и не вставая. Но в этот раз имя прозвучало с такой ледяной властью, что Федосенко помимо воли медленно поднялся. Его большие, квадратные руки оправили ремень, одернули гимнастёрку. Всё это не предвещало ничего хорошего, интонация начальника не сулила благодарностей по службе; значит, всё-таки дело...

– Товарищ Федосенко. Я потратил ночь на изучение дела троцкистского контрреволюционного центра в Чёрном. Ваш метод ведения следствия ниже всякой критики... Гм... ниже всякой критики...

Федосенко подавленно сделал шаг вперёд и вытянулся во фронт. Все взгляды устремились к нему. Общее «уф» беззвучно вырвалось из шести грудей. Попался, толстый! А то молчал, гордый! важный! Ему доверили расследовать крупное политическое дело! Ладно, соратник, ладно, свинья, снимай теперь штаны. Хорош гусь! И Федосенко слышал всё это каким-то внутренним слухом. Вокруг него всё рушилось, всё, всё... Ужасно. А Кнапп продолжал:

– Что за дела о семи фунтах хлеба и дюжине сотен тетрадей? В директиве из Москвы ясно сказано: «В некоторых случаях ограничиться преследованием за уголовные преступления, но при этом не создавать впечатления систематичности...» Вы занимались семью фунтами украденного возчиками хлеба, а в это время подпольный Комитет Пяти продолжал среди поднадзорных вам ссыльных свою деятельность... свою... зловредную деятельность... Откуда пришли эти двенадцать сотен тетрадей? Из Москвы. Вы сообщили в центральную коллегия о наличии активных и организованных правых оппортунистов-контрреволюционеров в органах распределения в самой Москве? Я вас спрашиваю, вы об этом сигнализировали?

Федосенко пробормотал:

– Нет.

Вокруг осуждающе зароптали. Кому он поверил? Какая преступная халатность! Ох!

– Из вверенных вашему попечению задержанных самый опасный, по его собственному признанию, троцкист сбежал. СБЕЖАЛ! Товарищи начальники и замначальники, мы все в ответе за этот невыносимый факт...

Разрезной нож Кнаппа сухо стукнул о край стола. Ничего нового, но больше, чем всеобщее оцепенение, виновника подавляло то, что в каждом чувствовалось облегчение на свой собственный счёт.

– И я – первый, поскольку допустил, чтобы дело такой важности оставалось в руках неспособных... (долгая пауза, тусклые блики от очков по лицам, шипящий голос) или же подозрительных...

Если Федосенко не пал навзничь, то только потому, что его бычьи бёдра держали равновесие независимо от воли. Он потерял всякое самообладание вместе со всякой надеждой, поднял руки в умоляющем жесте и жалобным тоном с укоризной сказал:

«Как вы можете, товарищ начальник!.. – порывисто выпрямился с криком: Я подозрительный? Никогда!» – но всё это где-то внутри, внешне он оставался убитым, абсолютно неподвижным и немым, только лицо его всё больше и больше наливалось кровью, а глаза застилал противный туман.

– Само по себе дело троцкистского центра неожиданно серьёзно, но ваши бумаги, вместо того, чтобы прояснить, странно затемняют его. Впредь я возьмусь за это сам. Федосенко!

(...Вот как? Это значит... это... это... тюрьма... тю... тю... тюрь...)

– ...Я предписал вам держаться в рамках законности, вы следовали этому указанию?

(К счастью, когда спрашивали вышестоящие, в Федосенко, какова бы ни была степень его падения, немедленно восстанавливался дар словесного согласия. *Да, товарищ начальник.*)

– Между тем, бежавший преступник, прежде чем сбежать, обратился к нам с жалобой на обращение с вашей стороны. Вы признаете себя виновным?

– Я... Нет... Не знаю...

– Жалобу беглеца подтверждает один из ваших подчинённых. Не спешите отрицать или сознаваться. У вас будет время обдумать линию поведения перед следователями партии и госбезопасности. Вы обманули доверие партии и саботировали работу госбезопасности. Пойдёте под арест до особого распоряжения.

Начальник внутренней службы оскорбительно развязно с папиросой в зубах пробормотал: «Очень хорошо!» Федосенко сказал: «Слушаюсь, товарищ начальник», – повернулся на каблуках, сделал три деревянных шага, толкнул дверь, вышел и не рухнул, продолжая с гудящей головой двигаться прямо по коридору... Тут впереди возник Мозгляк: хромой, одно плечо выше другого, дыры вместо глаз. «Сюда, товарищ начальник, вы позволите... Пожалуйста ваш револьвер, товарищ начальник, вы позволите...» Мозгляк скакал вокруг такой, каким Федосенко никогда его не видел: голова, скорее, мертвеца, чем живого, слишком просторная гимнастёрка поверх пустого скелета, бесцветный голос то ли марионетки, то ли призрака... Марионетка или призрак, но дверь побеленной извёсткой камеры за подавленным Федосенко он закрыл тщательно.

Родион перешёл Чёрную с первыми лесорубами, направлявшимися на лесосеку. Прежде чем войти в воду, они раздевались и ступали с камня на камень одним им ведомым путём. Какой-то увалень вдруг ухнул в волну, вскипевшую от его барахтанья, но через мгновение восстановил равновесие. Вокруг смеялись. «Утонуть здесь легко, – сказал один Родиону. – Все воронки не упомнишь и камни тоже сдвигает...» Родиону пришлось сделать вид, что и он знает путь по этим коварным камням, едва заметным от бликов. Он положился на опыт шедших впереди. Под деревьями лесорубы, чтобы согреться, ускорили шаг, Родиону же хотелось бежать. Лихорадка побега внезапно охватила его с головы до ног: он запрыгал бы от радости, расхохотался бы громко, заплясал бы, но старался пореже оглядываться, чтобы не привлекать внимания. Он затесался в цепь, растянувшуюся в подлеске по скользкой от сосновой хвои тропинке. Часам к девяти утра на поиски выйдут с собаками. Что дадут понюхать собакам, если он ничего за собой не оставил? Тюфяк у Курочкиных? На нём переспало столько потных тел... «Меня спасает нищета», – подумал он с удовлетворением. Он сознательно выбрал самый длинный путь, самый опасный, самый невероятный...

Опасность возникла раньше, чем он ожидал, и проще – на повороте тропинки, Родион сам вышел на неё ровным шагом... В глазах его ожили силуэты пихт, а лесная тишь мало-помалу сделалась ужасно звучной... Под старой пирамидальной почти чёрной пихтой всадник в серой шинели проверял бумаги лесорубов. Он придиричиво вертел в руках паспорт или рабочее удостоверение «спецпереселенца» – и этот в ссылке, – пренебрежительно рассматривая человека. Молодой солдат с одутловатым лицом, грязными руками и непроспавшимися глазами. Его рыжая длинношерстная лошадка лизала мох под ногами. Родион достал Галин паспорт, который так и не успел как следует рассмотреть. Он ещё не знал своего нового имени. Подняв голову и пряча взгляд, но так, чтобы его нельзя было в этом заподозрить, он спокойно уставился на солдата, глядя ему не в глаза, а ниже: на нос, на толстые потрескавшиеся губы. «Если ты меня схватишь, братишка, я тебя задушу...» Это отчётливое решение ушло в Родиона, как брошенный камень в глубину вод, оставляя спокойной поверхность. В паспорте была маленькая белая карточка бритого молодого человека, нарядного в вышитой по вороту рубашке – у Родиона была десятидневная щетина, подбитый правый глаз, лишай на подбородке... Солдат вернул бумаги, «Следующий». Следующий, старик с дряхлыми плечами, длинными космами, изрытым глубокими складками лицом, заросшим бесцветными волосками, был не в порядке. В его удостоверении ссыльного не хватало подписей. Демонстрируя свои бока, он жалобным голосом оправдывался, что страдает болячками, что не успел, что товарищ, Петров его знает, что товарищ Петров...

– Мне плевать на это, – сказал солдат. – Мне твои объяснения без надобности. Приказ есть приказ, братан. Тебе придётся пойти со мной... – Они молча уходили меж тёмных пихт: дряхлый старик с понурой головой впереди угрюмого всадника. Лошадь тоже опустила голову, обнюхивая по дороге мох, и всадник дал ей волю, вяло опустив поводья. Лес вокруг них был сплошным унынием.

И подлесок засиял для Родиона тёплым зелёным светом. Он заменил старика-ссыльного в бригаде лесорубов.

– Везёт, – сказал бригадир, – значит, к вечеру норму выполним...

Они её сделали. В полдень, когда солнце алмазами осыпало остроконечные верхушки пихт, голые по пояс люди упорно хлопотали в разбросанных по рыжей земле лужицам света. Глухо неистовствовали топоры над стволами, никем не замечаемые раны которых были нежнейших оттенков. Крупными каплями сверкала в них свежая смола. Её запах мешался с запахом пота. Монотонно на двух ритмичных нотах, как скулеж незнаемого зверя, звучала пила. Ближе к вечеру лесорубы поели хлеба с сушёной рыбой, сверкающей кристалликами соли. Когда солнце сделалось не больше калёного шара на кружевной кромке крон, работа вдруг встала. У слишком усталых, чтобы ругаться, людей сейчас были запавшие, болезненно блестящие глаза и тяжёлые загорелые руки с набухшими венами, похожими на синие верёвки, каким-то невероятным образом упрятанные под кожу. Родион с трудом разогнулся, измученный занозами, избитый по ногам и по плечам ветками пихты, которая, падая, едва не убила его.

– Живы! – сказал он радостно. – И ладно!

Никто не отозвался. Бежит, подумалось ему, один, а всем остальным возвращаться завтра, и каждый день и, может быть, всю жизнь в эту гулкую лесную тишь ради выполнения бесконечной нормы. Вечно ходить им из своих лачуг к этим старым, обречённым деревьям, со сна – да в работу, гонимым мыслью о плане и голодом, ибо план – это хлеб, а хлеб значит план, и нет конца ни голоду, ни плану... Родион отстал от них в сумеречных фиолетовых тенях. Никто и не вспомнил о том, кто шёл последним на обратном пути. Рабы! рабы! товарищи!.. Со вздохом облегчения Родион про себя сказал им: «Прощай!» С разбитыми усталостью членами, с горящей головой он шёл по звёздам нетвёрдой, но решительной походкой пьяного. Высокие, неподвижные силуэты пихт обступали его, он упал, поскользнувшись на неожиданно обнажённом почвой камне, поднялся и, тяжело дыша, двинулся дальше сквозь мрак, лазурность которого время от времени оживляли блёстки звездопада. В действительности же – если была какая-то другая действительность, кроме действительности его полубредового побега – это жажда и возбуждение заставляли плясать серебряные диски в его расширившихся на ночь зрачках. Жажда и жар уже не давали ему думать, но он шёл и шёл, обдирая ноги о корни и камни, вплоть до самого глухого из ночных часов, самого безумного от жажды, самого распалённого бегством и, может быть, самого близкого к смерти... Скорее всего, это могло случиться завтра или послезавтра. Звёзды мгновенно оцепенели, деревья во всё небо распахнули свои мрачные лапы, и Родион рухнул навзничь, осенённый пробежавшей по мозгам, как синий огонек, по земле мыслью: «Я тону...» Был то четвёртый, пятый или шестой день его новой жизни? Как он тащился, заглушая голод пихтовой хвоей и освежающим, но с привкусом влажного камня зелёным мхом, оставлявшим меж зубов мелких солёных шевелящихся червячков; как тащился он в ярком мгlistом свете по какой-то поляне к ручью, шум которого слышался отчётливо, к ручью, который он увидел в ста шагах, к струящемуся среди коряг ручью, которого не существовало? Как?

И вдруг пейзаж распахнулся, открывая два плана: позади кучерявой безбрежной толпой грудились деревья, застывшая каменная осыпь сбегала к широкой молочной ленте реки, по ту сторону которой раскинулся золотистый песчаный пляж, дальше – кусты, ещё дальше – равнина. Но дикую радость Родиона подавил страх. «Всё кончено, это мираж...» В отчаянии

он стал спускаться к миражу. Последние свои силы он тратил экономно, только бы не упасть (вероятно, он уже не встал бы), найти, во что вцепиться руками, куда поставить ногу и добраться до миража. Весь его рассудок, возбуждённый безмолвием, жаром, жаждой, бредом, самой волей к жизни, породившей и бред, и мираж, тянулся к чудесной, выставленной на небесной скатерти воде, всё ближе и ближе. Это был не мираж, она приближалась, он различал травинки на самом берегу, но почему бы не быть травинкам и по берегу миража? Он поверил в реальность воды только когда напился.

...Ещё день истек вне измерения времени, между покоренным миражом, реальностью воды и леденящей печалью вечера. Родион восстанавливал силы. Солнце зализывало ранки на его голых ногах. Голода он уже не чувствовал. Завтра, когда солнце будет в зените, надо одолеть вплавь три сотни метров этой реальной воды. Ночь была северной, с сиянием огромной луны. Совсем рядом кружили летучие мыши. Родион думал, что проснётся сразу, но едва он вышел из забытья, только начинавшего походить на сон, как снова впал в бесчувственное оцепенение. Утренний колотун был дольше ночи, наконец, в безоблачном небе встало солнце. Когда оно озарило и землю, и реку, Родион разделся, сделал из своего тряпья узел, закрепил его на затылке, тщательно осмотрел противоположный песчаный берег и медленно вошёл в воду, настолько студёную, что вся его плоть ошетибилась. Шаг-другой – и он провалился, камень круто обрывался. Холод пронизал его насквозь, но он спокойно поплыл через этот жидкий, бело-золотистый лёд, медленно отклоняясь с потоком. Через каждые десять секунд, открыв рот, он поднимал голову к слепящему солнцу, чтобы захватить тёплого воздуха. Сберегая силы, старался не оборачиваться, не проверять, сколько он одолел. И чем дальше он заплывал, тем шире делалась сверкающая гладь. Миллион булавок раздирал кожу. Он плыл иступлённо, а внутренности крутила странная боль. Тёплый золотистый песок, который, наконец, заколебался перед его глазами, оказался всего лишь миражом... Мускулы резко свело судорогой, открытый, чтобы пить воздух, рот вдохнул воды, и в ушах грянул приглушённый гром, потом загрохотали раскаты; бешеное усилие, которое он сделал, преодолевая боль и удушье, опрокинуло его, и последним, что он видел на земле, была высокая чёрная стена увенчанного пихтами берега... Огромный лес неумолимо вздыбился, заслоняя небо и опрокидывая землю, чтобы обрушиться на гибнущего пловца... Взлетая в небеса, утопающий отстранённо видел, как сомкнулась над ним гладкая, без единой морщинки река.

Присев перед костром из сучьев, человек жарил над ним шкворчащее кровавое мясо, подвешенное на каких-то рогульках. Открыв глаза, Родион увидел этого человека со спины. Шапка из звериной шкуры, лохматые волосы. Первая мысль Родиона смешалась со слюной, ибо жареное мясо возносило аромат до небес. Родион узнал золотистый песок, на котором в обволакивающем тепле был простёрт он – живой, голый и измотанный. Человек будто почувствовал на затылке его взгляд, сделал пируэт на голых пятках. Родион увидел низкий лоб, на который спадали спутанные волосы цвета грязной соломы, большой, прорезанный вкось рот, мясистый, отмеченный шрамом нос, маленькие острые, хитрые, голубые как небо глазки.

– Вот и мы опять?

Родион распознал у него напевный говорок жителей Черноземья.

– Спасибо, – сказал он просто и, помедлив, добавил: – товарищ.

– Плевать мне на твоих товарищей. Какой ты мне товарищ, никчемный утопленник? Почём ты знаешь, может, я сдам тебя за вознаграждение? Думаешь, не видно, что ты сорвался с лагерей? В какой бригаде ты был? Бригаде Ягоды или бригаде энтузиастов? Победы социализма? Вот где они у меня все, гражданин. Коли не хочешь, чтобы я бросил тебя обратно в воду, не надо называть меня товарищем. В этой стране, да будет тебе известно,

ничего больше нет: ни социализма, ни капитализма, только свора сифилисных шлюх. Есть мы с тобой, и если один из двух лишней, то вопрос легко решить без всенародного обсуждения...

Полунасмешливым, полужлым тоном произнося такой монолог, человек занимался больше жаркой мяса. Успокоенный его низким голосом, Родион шевельнул конечностями: мучительно, но работают. Внезапное доверие к окружающему придало ему сердечности.

– Извиняюсь. И всё-таки спасибо. Пахнет хорошо.

– Пахнет жареным волчонком, – объяснил тот. – Я убил его нынче утром прямо в норе. Укусил меня за палец, подлая скотина. Не думал, что он такой проворный. Их много здесь. Я – волк среди волков: чую их, выслеживаю, знаю всех их уловки, а они моих ещё не знают. Я, понимаешь ли, крупнейший плут в этой классовой борьбе... Пока я жру их. (Глаза у него смеялись). Засаекаю нору. Когда волчица уходит на охоту, осторожно подкрадываюсь. Действовать надо быстро. Я свищу, подражая завываниям волчицы, вот так, слышишь... это их беспокоит или манит, не знаю. Волчонок высовывается, он показывает кончик своей розово-серой мордочки, потом один боязливый щенячий глаз. Чтобы внушить доверие, я свищу ещё. Даю посмотреть свою левую руку, это его привлекает, он никогда не видывал человеческой руки, откуда ему знать, что она создана убивать всевозможными способами, он ведь невинен, волчонок, этот дурачок, а рука у меня розовая, похожая на смиренное животное; тут он облизывается и выскакивает поиграть, думаю, он ещё не настолько силен, чтобы быть злым, но у меня-то есть и другая рука, и я ломаю волчонку загривок вот этим...

Это – кремьень, точь-в-точь как рубило пещерного века.

– Таков мой способ производства. Мне нет нужды в кооперативах.

Из холщового мешочка человек ухватил щепотку крупной соли, посыпал ею кусок жареного мяса и бросил его почти в лицо Родиону: «Лови, жри». Родион был так слаб, что одними зубами набросился на смешанное с песком мясо, на сам песок, даже не пытаясь взять руками, чтобы как можно меньше шевелиться... Прошло какое-то время, может быть, немалое. Плоть волчонка имела нежный кровавый привкус, привкус солнца, привкус жизни.

– Как ты меня достал из воды? – спросил наконец Родион.

Сидя, по-самоедски поджав ноги, человек продолжал пожирать жареное мясо, ухватив его обеими руками. Кости так и хрустели на зубах. Волосы упали на лоб, на глаза. А глаза излучали хорошее настроение, в меньшей, конечно, степени, чем зубы. Ответил он далеко не сразу, выплюнув на песок изжеванные сухожилия и раздробленные косточки, из которых был высосан мозг.

– Спроси лучше, зачем, – сказал он весело. – Возможно, я больше заинтересовался твоим узлом, чем мордой. Будь у тебя добрые сапоги, не знаю, не отправил бы я тебя обратно на дно. На что она нужна, твоя жизнь? Мне она без надобности, и миру, уверяю тебя, плевать на неё, как и мне. Не знаю, почему, в самом деле, я не дал тебе спокойно сплавиться к Белому морю по двум рекам. Может, для тебя это было бы лучше. Лишний утопленник никогда никому не делал зла. И никто не спросит у него паспорта. Может быть, у меня возникла потребность в твоём обществе, дурак. Ненадолго.

Родион в полусне слушал. В зелёной бахrome кустов царила такая прозрачность. Он спросил:

– Тебя как зовут?

– Иван, – пожал тот плечами.

– Иван Непомнящий?

– Верно.

Насытившись, Иван поднялся, забавно улыбаясь от благодушия. Немного прошёлся, радуясь простору между песком и небом. Он заслонял собой весь вид: низкий лоб, округлые плечи, мощная челюсть, бдительные маленькие голубые глазки, живость которых обострялась хитринкой. Коренастый, плотный и тяжёлый, производящий в наряде таежного охотника впечатление огромной силы, он вернулся туда, где дрожал, разбросав руки-ноги, голый Родион. С высоты своего роста он взглянул на Родиона и вдруг, дурашливо, как школьник, продекламировал:

Дядя! Дядя! Наши сети
Притащили мертвеца...

– Это Пушкин, – сказал Родион, почти теряя сознание.

– И Шекспир, – с неуловимой насмешкой изрёк Иван. – Ты слышал такое имя?

– Нет... я читал только Гегеля, Гегеля...

– Возможно. Да у тебя же жар, утопленник ты мой.

Сколько тепла появилось в его интонациях... Родион бессильно закрыл глаза. Человек присел подле и обеими руками принялся зарывать песком голый корпус парня. Родион всей кожей ощутил это материальное тепло. Черты его размякли. Только детское лицо торчало из песка. Солнечный свет сквозь веки, сквозь сон проникал в него и гасил всякие мысли. Он оживал.

...Несколько дней он провел с этим человеком, Иваном, сказавшим, что не знает названия реки, как и названия другой, слияние с которой надо искать в двух-трёх днях ходу по течению: там беспрестанно сплавляют лес в плотях; проплыв ещё три дня, будешь в городе, городе без названия и воспоминаний; этот человек боялся людей, разговоров, имён, цифр, воспоминаний.

– В природе у рек нет названий, – говорил он плутовато. – На дне утопленники тоже безымянны, у всех, брат, одинаково синие лица... Волки не знают, что они волки... Это как... как...

Он привел Родиона в своё жилище, просторную, удобную, очень сухую нору, вырытую в хорошо прогреваемой солнцем земле и прекрасно замаскированную кустами. Родион подумал, что тут, должно быть, приложил руку не один человек, так все было добротно устроено. Две кавалерийских шинели и зимние душегрейки создавали удобное ложе. Засыпая там впервые, Родион испытывал страх от всего этого. Почему бы Ивану не раскрыть мне голову нынче ночью, а? И тотчас сам себе ответил: не расстреляли, не утонул, вот и спи тут с ним в землянке. Нужна ему моя смерть? Нужна мне моя жизнь? Все без важности. Больше проблем. Все складывалось так просто, что слегка кружилась голова. Земля была огромной-огромной... Расстались они без рукопожатий, не тратя бесполезных слов, молчаливые, видимо, потому, что в тот день были тяжёлые облака. И возле пляжа, где всё началось, нечего сказать. Родион уходил к полосе чернеющих вдали гор. Иван покачивал в руке обрез из отпиленного со ствола и с приклада карабина. Когда Родион отдалился метров на сотню, Иван поднял своё изуродованное оружие и долго махал им над головой. Казалось, он подавал какой-то непонятный сигнал. Родион, не замедляя хода, все оборачивался, чтобы махнуть в ответ фуражкой...

Вторая безымянная река была шире. Удивительную небесно-голубую ширь несла она между каменных фиолетовых утёсов. Плыли и бревна. Над лесом клубами поднимался дым. Родион стал внимательнее, зорче. Укрывшись на берегу, окаймлённом высокой, острой, как шпаги, травой, он пропустил большой, крепко сбитый плот, величественно несущий свою бревенчатую конструкцию; люди на нём громко разговаривали на непонятном языке, финском или самоедском, зырянском или марийском, русые, довольно хорошо одетые люди,

в свитерах и старых рыжих кожанках, видимо, коммунисты. Следующий плот показался через несколько часов в тучах мошкары перед самым заходом солнца. С этим, более лёгким, менее нагруженным, управлялись два молодых парня с длинными шестами. На оклик Родиона они с каким-то равнодушием причалили, приняли его и, ни слова не говоря, сунули в руки шест. Всё шло само собой. Едва село солнце, камни приобрели тёмно-красный оттенок, река сделалась враждебной, укусы мошкары – невыносимыми. Тогда парни грянули старинную каторжную песню:

Уныло звеня кандалами,
Далёким и трудным путём
Мы сами, красавица, сами
К судьбе своей чёрной идём.
Я знаю, что ты не прогонишь,
Когда я от стражи сбегу.
А если поймают вдругорядь,
Ты горькую сронишь слезу.

Это был единственный куплет, который они знали и повторяли от усталости и глухой тоски, когда было не в состоянии. Родион подпевал, всю работая шестом, требовалось большое внимание, чтобы течение не швырнуло их на камни. В критические моменты все трое, склонившись над тёмной водой, упирались, чтобы принять удар грудью с единым глухим рыком, и кто-нибудь один отпускал ругательство. В лунном свете они повторяли свою песню о кандалах и чёрной судьбе, о любви и страдании, пока, доведённые до изнеможения, не встали на прикол в каком-то подобии бухточки, чтобы переночевать. Родион показал парням деньги, и те продали ему кусок чёрного хлеба за три рубля. Из предосторожности он расстался с ними за несколько часов до города. Он ловко спрыгнул на берег. Парни засмотрелись в другую сторону и уже не увидели его. Поверхность воды отсвечивала абсолютным покоем, отражая неподвижные, изумрудно-зелёные кусты.

– Беглый, – сказал один, – бог с ним.

Другой отозвался эхом:

– Беглый... Чёрт его побори...

Город начинался с бедных бревенчатых домов, обнесённых ветхими оградками. Пробежала босая, чернущая девчонка. Родион зачарованно остановился. С наивной радостью, замешанной на каком-то другом, терпком и почти ужасном чувстве, смотрел он на родные, всегда одни и те же дома, крытые соломой или досками, претерпевшими столько ненастья, что сквозь них проглядывало небо. Что это был за город? Спросить он не осмеливался. В поисках объявления, афишки местного Совета он смешался с толпой. Но это был город без объявлений, без афиш, может, и правда без названия, заурядный, совершенно анонимный городок с руинами церквей, с пустыми как везде кооперативами, с вереницей людей перед закрытой лавкой табактреста, с нищенским рынком, где длинные лошадиные морды, лица людей, одежда, редкие мешки зерна – всё было цвета сухой грязи... На красном, натянутом над главной улицей транспаранте Родион, сам того не желая, прочел размытые дождем слова: *энтузиазм, индустриализация...* Бесцельные, голодные блуждания привели его к большой, ошестившейся лесами и высокими коробками зданий из красного кирпича стройке. В грязных лужах тряслись пьяные грузовики, не пугая маленьких послушных лошадок, впряжённых в допотопные телеги. Бочками с цементом выдавило изгородь, и было видно, как усердно суетятся люди среди грузовиков, лошадей, телег, цемента, лесов. На двери Родион прочел: «Требуются разнорабочие, каменщики, плотники, штукатуры и др. Обеспечиваются питанием и жильём». Он толкнул дверь. Пахло крепким табаком, свежей известью, лошадиным навозом, бензином, всё заполонили хриплые голоса, обсуждавшие историю о пропавшем обозе, пьяном шофёре, двадцати семи рублях и Контрольной Комиссии. Родион представился подсобником каменщика.

– Ладно. Как ты знаешь дело, испытают во второй имени Социалистического соревнования бригаде, она дает ежедневную выработку на 19 % выше среднеплановой. Три рубля шестьдесят пять копеек в день, спецпаёк – подвезло тебе. Только надо давать норму, здесь, брат, план выполняют, лодыри здесь не нужны. Если не подойдёшь, завтра переведу в четвёртую, отстающую бригаду: чёрная доска, два рубля сорок пять копеек и супец марки «колика» из кислой капусты.

– Я дам норму, – заверил Родион с оттенком неуловимой насмешки по отношению к самому себе. – Я, гражданин, сознательный. А что здесь строят?

– Районный Дом госбезопасности, товарищ пролетарий. Теперь ты понимаешь, что работа нам нужна хорошая. У нас соревнование с исправительно-трудовыми бригадами.

В бригаде, куда поступил Родион, была женщина, которая научила его носить на поясище, спине, затылке максимальный вес плотно уложенных кирпичей, поднимать его достаточно быстро на самый верх лесов, чтобы каменщики 5-й исправительно-трудовой ни на минуту не прекращали своей размеренной работы. Не было времени вздохнуть, обменяться словами, покурить; впрочем, курить воспрещалось, да и вкус к чему бы то ни было пропадал. Чтобы взбодриться, жевали дрянной табак по шестьдесят пять копеек за двадцать папирос. Женщине могло быть лет тридцать. Она пряталась, чтобы выпить. Заметив у Родиона судорожное, мокрое от пота, как у умирающего, лицо, она догнала его на шатком трапе, откуда открывался весьма приятный вид скромных крыш на бледно-зелёном, смешивающемся с горизонтом фоне. Женщина протянула Родиону бутылку с водкой.

– Выпей, да поживей! Застукает бригадир – не миновать нахлобучки...

Раздавленный усталостью, Родион жадно втянул в себя жидкий огонь. Ноги продолжали трястись, но он почувствовал себя зверски крепким и свежим, реальность виделась фантастически остро. Плоская грудь женщины, изнуренное, но стойкое с резкими чертами лицо. Запавшие глаза в тёмных орбитах. Намазанные губы и прекрасные, если бы один на самом виду не был выбит, зубы. Она спросила:

– Ну как, лучше? – Ветерок шевелил уголки её серого, стянутого под подбородком платочка. Во весь рост она будто парила над подмостями, и не было за ней ничего, кроме небесного простора, равнин и русской земли, истерзанной революциями земли с её чёрными, сверкающими, прозрачными, студёными, мёртвыми и живыми водами, с её очарованными лесами, с её грязью, с её нищами деревнями, с бесчисленными узниками в её тюрьмах, с бесчисленными расстрелянными в её могилах, с её стройками, с её народными массами, массой одиночеств и всеми зёрнами, прорастающими из её недр. Родион всё это, невыразимое, видел, всё, вплоть до прорастающих зёрен, уж они-то были действительно реальными. И женщина, которая в этот момент пила водку из горлышка бутылки, была действительно совершенно реальным человеческим существом. Он был прямо озарён, увидев всё это.

– Послушай, – сказал он мягко, – ты знаешь, кто мы такие есть? Ты когда-нибудь задумывалась об этом?

Она воззрилась на него с удивлением. Её прямой взгляд отливал металлической синевой и тоской.

1936-1938

Оглавление

I Хаос	1
II Чёрная	18
III Вести	39

IV	Директивы.....	68
V	Начало	75